

БОРИС МИЛЛЕР



НА ПОЛНОМ ХОДУ



БОРИС МИЛЛЕР



НА ПОЛНОМ ХОДУ

ПОВЕСТИ

Перевод с еврейского



Хабаровское
книжное
издательство
1977

С (Евр) 2
М 60

СОДЕРЖАНИЕ

ЯСНОСТЬ	3
НА ПОЛНОМ ХОДУ	131

Художник Е. Вольгушев

Печатается по изданию:
Б. Миллер. Ясность. М., «Советский писатель», 1974.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1974

© Иллюстрации. Хабаровское книжное издательство, 1977

М 70303-06
М160(03)-77







Глава первая

Не знаю, почему человек этот вдруг так ясно всплыл в моей памяти. Произошло это совсем неожиданно, потому что, как и множество других людей, событий, происшествий, он давно уже покоился под плотным слоем забвения, где-то на самом доньшке сознания. И вот через столько лет — всплыл. Воскрес из мертвых! И сразу будто пристал ко мне с сердитым упреком: «Неужто до сих пор ты не поведал обо мне миру?» Точно миру так уж необходимо знать о нем! Я пробовал отмахнуться от него — не отстает: расскажи!

Может, это в самом деле важно? Возможно, он и его история помогут кому-то лучше разобраться в некоторых событиях, которые еще и сегодня потрясают мир, раздираемый противоречиями и конфликтами.

Попробую рассказать.

Никогда раньше не приходилось мне встречать мужчину подобной красоты. Обычно принято говорить о красоте женщин. А о мужчине судят так: «Не урод — так и ладно!» Этот же человек выделялся своей какой-то

совершенно исключительной красотой. Высок ростом, на голову выше самых высоких моих знакомых. Косая сажень в плечах, богатырская грудь. Густая светлая шевелюра, ниспадавшая на высокий чистый лоб, такие же светлые холеные усы и борода придавали нечто львиное всему его облику. Из светлого обрамления шевелюры, усов и бороды снисходительно и покровительственно поблескивали золотисто-карие глаза.

Знакомясь, я протянул ему руку и почувствовал — она утонула в его огромной ладони, как в мягкой, теплой подушке.

— Шолом Либкин, — пробасил он. Его низкий, бархатистый голос таил, казалось, в себе то же очарование, что и вся его статная, мощная фигура.

Мы познакомились с ним в тот весенний вечер, когда пришли к Эммануилу домой. Очевидно, ради него и собрал нас Эмма, желая познакомить со своим новым другом.

Эммануил Казакевич, или, как мы его в своем кругу близких друзей звали просто, Эмка, только что вернулся из командировки в Москву и в некоторые западные области страны, куда он и другие ответственные работники ездили вербовать переселенцев для Еврейской автономной области.

Область была тогда еще очень молода. И двух лет не прошло с тех пор, как Михаил Иванович Калинин подписал постановление ВЦИКа об образовании Еврейской автономной области на базе Биробиджанского национального района. Молодая область нуждалась в людях. Вербовка новых переселенцев рассматривалась как важное партийное и государственное задание, доверяли его ответственным работникам и энтузиастам, подобным Казакевичу, которые приехали сюда первыми или почти первыми, перенесли и успели преодолеть немало трудностей и были уверены в том, что они делают важную работу не только для евреев-переселенцев, приехавших сюда или собирающихся приехать, но и для всей страны, для которой дальнейшее развитие Дальнего Востока имело большое и важное значение.

Командировка группы работников, среди которых был и Казакевич, увенчалась успехом: в Биробиджан шли два эшелона с переселенцами — один из Белоруссии, другой с Украины. Эммануилу предстояло провести некоторую работу на месте в связи с прибытием этих

эшелонов, находившихся пока в пути, и он, пересев в Москве на скорый поезд, успел приехать в Биробиджан раньше их. Вместе с ним приехал и Шолом Либкин.

Либкин ехал сюда на тех же основаниях, что и другие переселенцы, но Эммануил взял его с собой в скорый поезд, так как сразу прикипел душой к этому человеку и, кроме того, хотел избавить его от тех неудобств, которые связаны с поездкой в эшелоне. Больше же всего ему хотелось, чтоб Либкин скорее прибыл в Биробиджан, познакомился тут с его, Казакевича, старыми друзьями и вместе с ними впрягся бы в работу, а в работе он уже себя покажет! — в этом Эммануил не сомневался.

И вот на второй или на третий день после приезда Эмка и собрал нас, чтобы познакомить с Шоломом Либкиным.

Мы давно уже знали за Эммануилом одну его слабость: стоит ему встретить человека, у которого, как ему кажется, есть талант, неважно какой — литературный, музыкальный, артистический, — и он прикипает к нему, расхваливает перед всеми и жаждет, чтобы и другие относились к нему точно так же. Случалось, что Эммануил ошибался в некоторых своих кумирах, но это не мешало ему вскоре отыскивать новых, восхищаться ими и заставлять восхищаться других.

«Вот и еще один объект чрезмерных Эмкиных восторгов», — так мы, близкие друзья Эммы, не без иронии думали о Шоломе Либкине, до того еще, как нам пришлось его увидеть. Но, познакомившись с ним в тот вечер, мы единодушно пришли к выводу, что нет, на сей раз Эммануил, пожалуй, не ошибся. Он действительно познакомил нас с человеком незаурядным. Сама его внешность уже говорила о многом, но у этого человека были и другие достоинства, которые обнаружились в тот же вечер.

К нашей мальчишеской компании присоединилось на сей раз и несколько девушек. Среди них особенно выделялась Галя, высокая, стройная, с продолговатым, смуглым от загара лицом. Она работала в обкоме комсомола. Ее несколько суженные черные глаза таили в себе приглушенный блеск.

Отозвав Галю на кухню и указав на банки консервов и корзину с картошкой, Эмма сказал:

— Мобилизуй-ка девчат и сделайте из всего этого какой-нибудь толк. Главное — чтоб была горячая картошка и рассыпчатая!..

Оглянувшись — не видно ли из другой комнаты? — Эмма крепко поцеловал Галя в щеку и, выбежав из кухни, громко объявил:

— Ребята, будет горячая картошка, да такая, что дым коромыслом!

Галя осталась стоять на кухне, как бы в чад. Щека ее пламенела. Но в следующую минуту она вихрем влетела в комнату и порывисто потянула за руки девушек, не спускавших глаз с Шолома Либкина.

— Симка! Лилька! Пошли чистить картошку! — В голосе ее было столько восторга, точно она звала их совершить невесть какой подвиг...

Обе девушки без особого желания повиновались, и все три скрылись на кухне.

А тут пошло шушуканье:

— Либкин-то каков!

— До чего красив! А?

— Надо же!

— А фигура!

— А борода!

Лиля вдруг вспыхнула:

— Как вы думаете, девочки, если такой бородач да поцелует?.. А?

— Мы этого никогда не узнаем. Наши мальчики не носят бород, — сказала Сима.

— Они и целоваться-то не умеют, — заметила Лиля.

— Ну, это они как раз умеют, — возразила Галя.

— Твой Эмка умеет — это мы знаем. Но вот мой Гиршке...

— Откуда ты знаешь, что Эмка умеет? — бросив поспешный взгляд на Симу, спросила Галя.

— Ты думаешь, мы не видели, что у вас тут было, на кухне?

— Ладно, хватит! — смущенно перебила подругу Галя. — Давайте чистить картошку!

Лучше всех работа спорилась у Симы. Очистки непрерывной тонкой лентой уходили из-под ножа, мелькая в ее ловких пальцах. При этом она весело напевала какую-то детскую песенку, притопывая в такт маленькой ножкой. Все, за что бы Сима ни бралась, она делала вот так — весело напевая и пританцовывая, и за это ее

любили дети из младших классов, в которых она преподавала, любили коллеги по школе, за это любил ее и Гиршке.

Эх, Гиршке, Гиршке... Он был журналистом и поэтом. Журналистом был он неважным, его терпели в редакции только из уважения к его поэтическому дару, — но дар этот был незаурядный. А в жизни Гиршке был не мастак. Лишь с самым близким человеком, да и то не часто, мог он разговориться по душам. Невысок ростом, широк в плечах, одно плечо чуть пониже. Тонкий длинный нос как бы с любопытством тянется розовым кончиком к широкому рту. Узкие зеленовато-серые глаза всегда таят какое-то нездешнее, задумчивое выражение. На правой щеке, под глазом, едва заметный шрам, еще с детства... Таков Гиршке — неважный журналист и одаренный поэт. Он был сейчас с нами. В шумной, сразу ставшей тесной комнате он, по своему обыкновению, отыскал самый укромный уголок и сидел там, незаметный, рассеянно-задумчивый, молчаливый. Но как только Галя увела за собой на кухню Симу и Лилю, он тут же встрепенулся и уже больше не спускал с кухни настороженного взгляда.

Гиршке давно уже был влюблен в Симу. Ему нравились ее ладная фигурка, легкость, чуть припухшие губы и большие черные, немного выпуклые, но очень красивые глаза — странные глаза, которые на маленьком смуглом личике Симы жили какой-то своей особой жизнью, со своими грезами, мечтами и тайнами...

Ах, будь у него хотя бы малая доля той уверенности в себе, что была у Эммануила! С тех пор как Гиршке познакомился с молодой учительницей, он еще ни разу не говорил ей о своих чувствах и полагал, что ни она, да и никто другой об этом не догадываются...

Гиршке пришлось сегодня пережить несколько мало-радостных мгновений, когда он перехватывал восхищенные взгляды Симы, устремленные на Либкина... Подобное мог бы пережить и Эммануил, будь он в состоянии замечать в этот вечер что-либо еще помимо того, что касалось его нового друга. Ни на минуту не отходя от него, он был готов исполнить каждое его желание. Это было мало похоже на Эмму.

Низкий, бархатистый голос Шолома Либкина, голос, который сам по себе мог очаровать любого, царил и властвовал в тесной от гостей и изрядно накуренной

комнате. Он стал рассказывать о новом французском романе, недавно изданном в Париже.

— Роман этот, — с уверенностью говорил он, — новое слово не только во французской, но, пожалуй, и в мировой литературе.

Никто из его собеседников еще не слышал об этом романе? Жаль. Возможно, его еще не успели перевести, но, конечно же, это будет сделано — такой роман следует перевести на все языки. Откуда он-то о нем знает? Читал. В оригинале — да.

— Вы знаете французский? — спросил кто-то.

— Ну да.

— Откуда?

В ковненской гимназии, где он учился, этот язык преподавали. Ну, и потом он долгое время жил в Париже.

— В Париже? — удивилась Лиля.

— Да, в Париже, — повернувшись к ней, ответил Либкин. Ему понравилось наивное и восхищенное выражение ее красивого лица с милыми ямочками вокруг вишневосочного рта.

— Ну да, — повторил он, улыбнувшись ей, — в Париже.

Лиля, Сима и Галя опять были среди нас. Картошка уже варилась. И хотя на кухне еще оставалась работа, они явились сюда все трое, привлеченные чарующим голосом Либкина, а также необычностью того, о чем он рассказывал, и даже самой его манерой говорить.

Я перехватил взгляд Гали, брошенный сначала на Эммануила, затем на Либкина — они оба стояли у окна, — и в ее глазах я прочел нечто похожее на внезапный страх. Видимо, она невольно сравнила их и впервые, должно быть, увидела, что Эмма не так уж высок ростом, как ей до сих пор казалось, и не в меру худощав... Выпивавший у него кадык, наверное, тоже впервые сейчас бросился ей в глаза... Вот она, Галя, и испугалась... Но через минуту так же, как Сима и Лиля, опять не спускала восхищенных глаз с Либкина, вовсе забыв, что на кухне еще осталось немало работы.

Но тут вдруг последовала команда Эммануила:

— Девчата, на кухню! Хватит глазеть на Шолома! Вижу — понравился. Но вашим глазенком он сыт не будет. Не так ли, Шолом?

— Как сказать, — ухмыльнулся Либкин в свою холечную бороду.

Девушки ушли на кухню, и вскоре туда к ним явился и Эммануил. Он пробыл там довольно долго, время от времени слышно было, как то одна девушка, то другая заливается смехом. Вышел он оттуда с таинственно-заговорщическим видом — что-то, значит, придумал!

Подойдя к комоду, Эмка порылся в нем и с видом факира, готовящегося показывать чудеса, крикнул:

— К трапезе славной да будут накрыты столы!

В тот же миг на столе засверкала белая скатерть, и вся комната, точно по волшебству, сразу празднично преобразилась.

Эммануил ударил в ладоши:

— А сейчас пусть принесут мясные блюда!

Из кухни показалась Сима. В одной руке она несла тарелку с нарезанной колбасой, в другой — тарелку с мясными консервами. Поставив оба блюда на стол, она отошла в сторонку.

— А сейчас да принесут рыбные блюда!

Лиля уже стояла на пороге кухни, в одной руке у нее было блюдо с нарезанной селедкой в белых кольцах лука, в другой — крабы. Она поставила то и другое на стол и тоже отошла в сторонку.

На цыпочках, осторожно, Эммануил приблизился к порогу кухни. Словно маг-волшебник, — стоит ему только взмахнуть палочкой, выйдет из пещеры царевна, — приказал:

— А сейчас да внесут — с пылу, с жару — картофель под горячим паром!

С огромной миской, над которой действительно клубился пар, появилась Галя.

— А теперь подавайте заморские вина! — скомандовал Эммануил и бросился сам выполнять свою же команду. Из укромного угла между стеной и шкафом он стал одну за другой извлекать бутылки и ставить их на стол.

Либкин наблюдал всю эту церемонию с восхищением, а увидев бутылки, приподнялся с места и чуть ли не со слезами взмолился:

— И мне... И мне дайте хоть что-нибудь принести!

— Ты же гость наш, — остановил его Эммануил, — тебя-то мы и собираемся потчевать...

— Но я не желаю больше быть гостем...

— Прекрасно! — воскликнул Эммануил. — Надо еще что нести, девчата?

— Надо, надо! — В тот же миг три девушки окружили Либкина и принялись усердно подталкивать его к кухне.

— Да они тащат меня, как дьявол праведника! — захохотал Либкин.

Эммануил никак не мог вспомнить, что же еще осталось принести из кухни. Но коль девушки говорят, значит, кое-что есть. Ему хотелось встретить Либкина каким-нибудь двустишием в рифму. Он не знал еще, к чему подбирать рифму, но знал, что рифма будет. Ага!

О, главное из главных подавай —
Внеси нам хлеба свежий каравай!..

Довольный, сияющий Либкин, чуть пританцовывая, приближался к столу, держа высоко над головой поднос с нарезанным хлебом. А девушки тем временем снова удалились в кухню и уже скромно, без парада, стали вносить «мясные и рыбные» блюда.

Все расселись за столом. Опытным взглядом неизменного тамады Эммануил оглядел стол и сразу заметил непорядок.

— Э, нет, — воскликнул он, обратившись к Гиршке, — так дело не пойдет!

— Ничего... Как-нибудь... — пробормотал тот со своего места на отшибе, у края стола, и, как всегда, когда вдруг оказывался объектом общего внимания, смутился.

— Нет, нет! — продолжал Эмка. — Ты у нас слишком хороший поэт, чтобы сидеть на таком плохом месте...

Недолго думая, Эммануил подошел к Гиршке, взял его за руку и вывел к середине стола. «Подвиньтесь, подвиньтесь маленько!» — сказал он, усаживая Гиршке рядом с Симой. Та, смутившись, подвинулась немного, но Гиршке даже не взглянул в ее сторону. Сидеть возле Симы — при всех. Да лучше бы ему провалиться сквозь землю...

А Эммануил уже снова был на своем месте.

— Вот эту бутылку видишь? — обратился он к Либкину. — Прочитай, что написано на этикетке!

Тот взял бутылку в руки.

— Здесь написано: «Горный дубняк».

— Ну вот. Достаточно, однако, выпить пару рюмок этого вина, и ту же самую этикетку ты будешь читать наоборот: «Дубовый горняк»...

— Вот как! — рассмеялся Либкин. — Так надо же попробовать. В Париже такого вина не найти...

Выпили, потянулись к закускам, в первую очередь к горячей картошке.

— Я предлагаю тост, — несколько торжественно начал Эммануил, поднимаясь с места. — Тост за нашего гостя — одаренного писателя и журналиста Шолома Либкина.

Заметив наши недоуменные взгляды, Эммануил продолжал:

— Это имя, возможно, пока еще вам мало о чем говорит, хотя Шолом уже печатался, правда, не много и не у нас. Но главная суть в тех вещах, над которыми он сейчас работает, и в его замыслах, удивительных замыслах! Вот попросите — пусть он вам что-нибудь расскажет...

Либкин сидел, склонив голову, всем своим видом как бы показывая, что не заслуживает такой чести.

— Расскажите, Либкин!

— Расскажите! — слышалось со всех сторон.

Он встал и, смущенно усмехаясь в холеную бороду, сказал:

— Много о чем можно рассказать. Не знаю, собственно, что именно...

— Что хотите.

— Разве что...

Поглаживая рукой бороду, Либкин заговорил неторопливо, тихо, снисходительно-добродушно обводя всех присутствующих своими золотисто-кариими глазами.

Когда он кончил говорить, все зашумели:

— Интересно!

— Очень интересно!

— Да это замечательно!

— Расскажите еще что-нибудь, Либкин, — попросила Лиля. Она ни на секунду не спускала с него глаз, все время улыбаясь ему своими милыми ямочками на щеках.

— Ну хорошо. Вот еще, к примеру, такое...

И в том же снисходительно-добродушном тоне он рассказал еще что-то, названное им сюжетом для рассказа.

— Сюжет для небольшого рассказа, как вы помните,

у Чехова в «Чайке». Но у меня здесь совсем иной поворот.

— Чудесно! Прекрасно! — раздались со всех сторон голоса.

— Как у О'Генри, — восхищенно промолвила Сима.

— Как вы сказали? — спросил Либкин, повернувшись к ней.

— Как у О'Генри, говорю я, такой же неожиданный конец...

— Извините, — сказал Либкин, — вы немного отстали. О'Генри уже порядком устарел. В наше время он никого ничему не может научить. Есть авторитеты посolidней...

— Кто, к примеру? — спросил Гиршке. Ему, как и всем, понравился сюжет, рассказанный Либкиным. Но вовсе не понравилось восхищение, прозвучавшее в голосе Симы, и не понравился легкий, пренебрежительный тон, с которым Либкин отзывался о хорошем писателе. Пропустив уже пару рюмок, Гиршке чувствовал себя теперь уверенней, и он повторил свой вопрос: — Кто же, к примеру?

Либкин посмотрел на него удивленно, словно только что увидел его, и ответил:

— Например, Кафка.

— Кто?

— Кафка. Франц Кафка. Не слышали о таком?

— Нет, не слышал, — ответил Гиршке даже с некоторым вызовом: дескать, не слышал — ну и что?

— Жаль, — спокойно ответил Либкин. — А между тем есть такой писатель. На Западе он в почете. Чех. Собственно, еврей по происхождению. Пишет на немецком.

Эммануил, хорошо владевший немецким, был единственным среди нас, кто знал кое-что о Кафке, но то, что речь зашла об этом писателе, ему не понравилось. Он боялся, как бы это не привело к размолвке между его новым товарищем и старыми друзьями, — а он желал, чтобы они поскорее сблизились, — к тому же ему не совсем было ясно, относится ли Кафка к тем писателям, которых стоит пропагандировать. Поэтому, воспользовавшись правом тамады, он постучал по столу.

— О'Генри, Кафка — что за споры! Вышибем пробки и выпьем по стопке! — скаламбурил он. — Закуска есть еще, девушки?

— Есть! — разом откликнулись Галя, Лиля и Сима и устремились на кухню.

Эммануил ничуть не был пьян, лишь глаза из-под больших стекол очков блестели сильнее обычного. И вот он уже сильным своим голосом затянул любимую еврейскую песню:

Ой, какая же бу-ма-га белая
И какие же чернила чер-ные...

Оживленный взгляд его из-за очков настойчиво требовал от всех, чтоб поддержали песню, и вот уже казалось, что, не выдержав мощи слившихся голосов, обрушится потолок...

Закончив эту песню, Эммануил тут же затянул вторую:

Давайте все вместе, все вместе, все вместе
Воздадим гостю честь.

Таким образом чествовали Либкина, затем девушек — всех вместе и каждую в отдельности, потом остальных, и после каждого чествования все громче повторяли припев:

Давайте все вместе, все вместе, все вместе
Выпьем немного вина...

С таким же подъемом спели затем русскую песню «По долинам и по взгорьям...», украинскую — «Распрягайте, хлопцы, кони...», и голос Эммануила, не ведая устали, парил над всеми остальными голосами.

Еврейские песни Либкин пел вместе со всеми. Затем он молча смотрел на поющую вокруг себя молодежь и думал: Эммануил был прав, когда рассказывал ему о своих товарищах — действительно толковые парни. Правда, в них нет ничего выдающегося, но как внимательно они его сегодня слушали... Ну, а девушки просто клад, все три, не скажешь даже, какая лучше... Вот эта, например, Лилей ее, кажется, зовут. Эмма сказал ему, что она медицинская сестра. Как мило она улыбается ему своими ямочками.

— Вы хотите мне что-то сказать? — спросил он, наклонившись к ней.

— Да, я хочу у вас кое о чем спросить.

— Пожалуйста!

— Вы говорили сегодня о своих литературных замыслах. Мне они очень понравились.

— Благодарю!

— У вас много их?

— Хватит на солидную книгу. А может, и не на одну.

— Ну, а сколько из них вами уже реализовано?

— Что?

Рядом с ними слишком громко пели, он, очевидно, не расслышал, и, наклонившись, она громче повторила свой вопрос.

Либкин чуть отшатнулся от нее и рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? — смутилась Лиля.

— Ха-ха!.. Мне нравится ваш вопрос... «Реализовано» — сказали вы? Вы имеете в виду — написано?

— Ну да, много ли вами уже написано?

— Это, милая моя, дело десятое — написать, — ответил Либкин, взяв двумя пальцами, как ребенка, Лилю за подбородок. — Был бы замысел, задумка — это главное! А написать — просто, — закончил он, глядя на раскрасневшуюся девушку, не спускавшую с него восхищенного взгляда.

Гиршке, сидевший рядом, вдруг поднялся. Хотел, видимо, что-то сказать, но тут заметил, что Сима направляется в кухню, и пошел за нею.

* * *

Когда мы всей компанией высыпали из дома, было уже довольно поздно. Эмма и Либкин тоже вышли, и все вместе мы отправились вверх по Октябрьской улице. Миновали обширное болото и вышли к деревянному мосту, уводившему к далекой сопке... Эта сопка выглядела сейчас в моем затуманенном вином воображении как голова некоего гигантского зверя. Голова, склонившись вниз, дремала на передних лапах, а продолговатое тело этого сказочного животного тянулось вдоль железной дороги...

Светила луна, и ясно были видны деревянные мостки в тех местах, где со временем, очевидно, будут проложены тротуары. Но о тех будущих тротуарах никто из собравшихся здесь не думал, и вообще никто из нас не ощущал тогда каких-либо неудобств оттого, что жил в этом таежном краю, где молодой город, собственно, только еще зарождался. Наоборот, все мы были счастливы сопричастностью к тому большому и новому, что появлялось здесь. И это чувствовалось и теперь в припод-

нятом настроении, царившем среди нас, в веселых шутках, радостных восклицаниях.

Лиля первая спохватилась, что пора домой.

— Завтра же с утра на работу! — сказала она.

Сима поддержала ее:

— Дома и не знают, где я так поздно пропадаю!..

Лиля с тайным трепетом надеялась, что Либкин проводит ее домой. Однако он ушел вместе с Эммануилом и Галей, и Лиля утешила себя мыслью: в городе он человек новый, ночует у Эмки, вот и неудобно ему уходить. Лиля очень хотела надеяться, что Либкин еще будет провожать ее домой.

Гиршке подошел к Симе.

— Идем? — спросил он.

Ему хотелось объяснить ей, почему он так плохо чувствовал себя за столом, почему он не смог даже взглянуть в ее сторону. Но именно этим Сима была обижена и очень сухо теперь ответила:

— Мы с Лилей сами дорогу найдем. — И потянула подругу за рукав. — Пошли, Лилька, уже поздно!

Гиршке махнул рукой и отошел в сторону.

Девушки ушли, а ребята долго гуляли еще по центральной улице. Разговор больше всего вертелся вокруг Либкина.

— Ну и хлопец! Ну и добрый же молодец, а?

— И где только Эмка его раздобыл!

— Эмка — да не раздобудет! У него особый нюх на таких!

— Слыхали, сколько у него разных тем, сюжетов! Так и сыплет ими, как из рога изобилия!

Один, второй, третий, дойдя до своего дома, прощались. Компания редела. И вот мы остались втроем — я, Гиршке и немолодой уже журналист, работавший на радио.

— А не кажется ли вам, ребята, — сказал журналист, — что этого самого Либкина Эмка привез сюда на свою же голову?

— Как это?

— Не заметили разве, какими глазами смотрела на него Галя?

— Ну и что?

— А то!

— Галя Эмку никогда ни на кого не променяет.

— Ни на кого из нас, — ответил журналист. — Но вот

когда откуда ни возьмись сваливается на голову такой вот удалец... Комплекция!.. Борода!.. Чего в сравнении с ним стоит Эмка со всеми его талантами? Кожа да кости да очки в придачу?.. А к такому, как этот Либкин, чтобы вы знали, женщины даже помимо воли идут сами, как кролики в пасть к удаву...

— Циник... Ты мерзкий циник! — крикнул Гиршке и, весь дрожа, встал перед журналистом.

Тот посмотрел на него сверху вниз и спокойно промолвил:

— Твое счастье, Гиршке, что ты пьян и что я уже почти дома. Адье!

Мы остались с Гиршке вдвоем. Он весь как-то съежился и, пряча голову в плечи, молча шагал, угрюмо глядя себе под ноги.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Все же?

Он не ответил.

— Сима?

— Что — Сима?

— Хватит тебе притворяться.

— Да не в Симе дело, — недовольно буркнул он.

Облака непрерывной чередойплыли навстречу луне, стоявшей в самой середине неба. Кроме нас, в этот поздний час на улице никого не было, и в тишине отчетливо раздавались наши шаги по деревянным мосткам.

В лунном свете глаза Гиршке, устремленные на меня, казались зелеными. Обычно скрытный, молчаливый, он вдруг заговорил мягко, плавно, но с большими паузами, словно вытягивая слова из потаенного колодца где-то внутри себя. Я уже привык к этой его манере разговаривать и не торопил его.

— Я все думаю об этом человеке, — сказал Гиршке, — о Либкине...

Помолчав, добавил:

— Все хвалят его, не нахвалятся. И Эмка...

Глядя на меня в упор, он спросил:

— А ты вот что думаешь, только откровенно?

По правде говоря, я еще толком не разобрался в своих мыслях и сказал об этом Гиршке. Тот испытующе посмотрел мне в глаза и сказал:

— А меня вот точно обухом по голове ударили...

— Зачем же такие страшные слова? — спросил я.

— Зачем? Вот все мы живем здесь, работаем. Каждый занят своим делом, и каждому из нас кажется, что от него есть какой-то прок. Кое-чего мы уже добились, глядишь, со временем добьемся и большего и для нас, и для тех, кто будет после...

Гиршке вдруг остановился:

— Хочешь, открою тебе секрет?

— ?!

— Я пишу роман. Об этом никто еще не знает.

— В стихах?

— Нет, в прозе. Считаю, что романы надо писать только в прозе. Если ты, конечно, не Пушкин. Хочешь знать, о чем роман? О нас с тобой. О таких, как мы, молодых. И о тех, кто постарше, тоже. Из разных мест приехали сюда, в тайгу, люди, и вот все вместе, — такие разные, такие непохожие — а это и надо показать в романе, — делаем одно общее дело. И мне казалось, что, как и мы все, я тоже способен кое-что сделать — например, написать задуманный роман.

— Ну и прекрасно, — заметил я.

Мое замечание Гиршке пропустил мимо ушей.

— Но вот сегодня я вдруг почувствовал, что ни я, ни ты никогда ничего путного не сделаем, понимаешь?

— Нет, не понимаю, — ответил я.

— Не понимаешь? — Гиршке недоверчиво взглянул на меня. — Тогда тебе легче!

Губы его скривились в иронической усмешке, и он продолжал:

— Вот Шолом Либкин — кто он есть? Человек? Нет, живой фейерверк! Замыслы, сюжеты — целая прорва, так и сыплются, словно манна небесная... Ну, а записать, зафиксировать их на бумаге? Ты бы послушал, что он ответил нашей Лильке, когда та спросила, много ли им уже написано, или «реализовано», как она выразилась. Я сидел при этом, и меня чуть не взорвало! Оказывается, написать — для него это последнее дело. Главное — замысел. Понимаешь? А я? Скажу о себе. О тебе и о других не знаю. Может, вы мастаки еще похлеще Либкина. Дай вам бог!

Тут Гиршке надолго умолк и затем, как бы возвращаясь откуда-то издалека, снова заговорил:

— Ищешь тему, сюжет. Собственно, никогда не перестаешь искать. И вот, кажется, нашел! А на поверку — интересный факт, не более. Но этого мало, нужно нечто

большее, обобщающее. Вот и отбрасываешь одно за другим. Наконец находишь то, что искал, — есть тема, идея, сюжет. Остается пустяк — написать. Для Либкина, оказывается, это легче легкого, а для меня тут-то и начинается самое трудное...

Гиршке снова замолчал. Он шагал рядом, углубленный в свои мысли, и, видимо, совсем забыл про меня.

— Ну и что же? — напомнил я ему о себе.

— Ну вот и ну, — как бы просыпаясь от сна, откликнулся он. — Начать новую вещь — значит для меня пуститься в неизведанные дебри... Тебя манят десятки троп, а по какой из них пойти? Одна заводит в бурелом, другая — в непроходимую чащу, а третья — и вовсе черт знает куда...

— Но есть ведь и та тропа, — сказал я, — которая ведет к цели?

— Конечно, есть! Но ее ведь нужно найти! А сегодня, — продолжал Гиршке, — я увидел человека, для которого все эти мои тяжкие поиски вовсе не существуют. Чепуховое дело какое-то, которому не стоит придавать значения. Кто же он такой? Гулливер? А мы с тобой? Лилипуты?

Я понял причину подавленного настроения Гиршке, но утешить его не мог. Он высказал то, что весь этот вечер мучило также и меня. Мы расстались с ним, когда уже занимался новый день.

Глава вторая

В то время, о котором идет речь, я работал учителем. Окончив Московский государственный педагогический институт, я с путевкой Наркомпроса приехал в Биробиджан. Получение этой путевки давало возможность осуществиться одному из моих давних желаний. Дело в том, что в Биробиджан я должен был приехать еще несколько лет назад, когда туда из Харькова отправились мои близкие друзья — Эммануил Казакевич и другие. Они и меня звали с собой. Но мне в мои тогдашние семнадцать-восемнадцать лет хватило ума сказать: «Приеду, когда окончу институт. И я для Биробиджана, да и он для меня тогда окажемся намного полезней».

Мои друзья восприняли эти слова с удивлением, и хотя знали, что не в моих это правилах, все же подумали,

что поступаю я так не без мысли о собственной выгоде. Но мое решение было твердым, и я остался.

До того как нам пришлось расстаться, мы часто собирались в клубе «III Интернационал». В этом клубе мы и познакомились, а затем подружились.

В Харькове, тогдашней столице Украины, в начале Пушкинской улицы, там, где она выходит на площадь Тевелева, высилось большое кирпичное здание. Когда-то здесь была хоральная синагога, а в конце двадцатых — начале тридцатых годов помещался еврейский рабочий клуб. Рабочие парни, вроде меня и Гиршке, приехавшие из своих маленьких местечек в Харьков работать на фабрике или на заводе, едва переступая порог клуба, сразу же устремлялись в буфет. Здесь за сносную цену всегда можно было получить недурной винегрет. Так, сидя однажды за столиком и поглощая свои винегреты, мы и познакомились с Гиршке Дьямантом и с тех пор уже не разлучались с ним. В клубе часто происходили литературные вечера, диспуты. Здесь можно было увидеть многих еврейских писателей, в ту пору уже известных: порывистого и в то же время сосредоточенно-задумчивого Переца Маркиша; солидного, медлительного Льва Квитко, смахивавшего на обычного служащего, с умным взглядом из-под роговых очков Ицика Фефера; тогда еще совсем молодую, миловидную, с большими зеленовато-серыми глазами поэтессу Хану Левину; невысокого, рыжеволосого Даниэля и многих других.

В летние месяцы клуб переносил свою работу в небольшой сад — на Черноглазовскую, 3. Сад с небольшими беседками и разноцветными лампочками, подвешенными меж деревьев, выглядел очень уютно.

Я, Гиршке и еще трое-четверо наших сверстников делали тогда первые пробы пера. Заняв одну из беседок, мы отдавали на суд своих друзей кое-что из написанного. Первые мои рассказы я тогда целиком составлял в голове, в то время как руки были заняты нелегкой, но привычной работой — шлифовкой в никелировочном цехе фабрики металлических изделий. То, чего я не успевал продумать за работой, додумывал ночью, лежа на жесткой постели, — я снимал угол и приходил туда лишь затем, чтобы переночевать. Все свободные часы проводил в городской библиотеке имени Короленко. Здесь писал свои рассказы сразу набело, точно мне кто-то диктовал их, так как все, до мельчайших деталей и до последней

строчки, было заранее «написано» в голове. Было ли в моих рассказах что-то путное, я не знал, и меня скорее удивило, нежели обрадовало, когда в одной из беседок на Черноглазовской я, набравшись решимости и прочитав рассказ, вдруг услышал, что он — хорош. Пока такую оценку давали Гиршке и еще кое-кто, я не придавал этому особого значения. Но когда слово взял Эммануил Казакевич и тоже сказал: «Хорошо!» — у меня радостно забилося сердце... Эмка знает, что говорит!

С ним мы также познакомились в клубе. Как-то мы присутствовали на диспуте. Слово предоставили немолодому уже, грузноватому человеку, с живыми глазами, добродушно смотревшими из-за узких стеклышек очков. Он темпераментно и остроумно полемизировал со своим оппонентом. Рядом с нами сидел долговязый, худощавый юноша с густой шевелюрой и в роговых очках. Мы его тут часто видели, и нам всегда бросалось в глаза, как свободно, непринужденно держал он себя со всеми. Стесняясь своей провинциальной неосведомленности, я все-таки решил спросить у юноши, кто выступает.

Тот повернулся ко мне и Гиршке и, внимательно посмотрев на нас, просто и непринужденно ответил:

— Мой отец.

Так мы познакомились с Эмкой.

Отец его был видным еврейским критиком, публицистом и издательским работником.

Вскоре в нашей группе начинающих Эмка занял ведущее место. Дело было не только в том, что известные писатели, на которых мы, вчерашние местечковые парни, так наивно пялили глаза, когда видели в клубе, — до этого мы вообще их знали только по школьным хрестоматиям, — запросто приходили к Казакевичам в дом и трепали за щечку Эмку, когда тот был еще маленький. К тому времени, когда мы с ним познакомились, — ему тогда было неполных семнадцать, — он уже и сам писал, да так, что нам можно было многому у него поучиться. Если каждый из нас, начинающих, писал либо стихи, либо прозу, Эмка пробовал себя во всех жанрах. Никто из нас не знал тогда ни одного иностранного языка, а Эмка хорошо уже владел немецким. Помню, как он всех нас ошеломил, прочитав нам стихи Гейне на немецком, а затем на еврейском языке, в собственном переводе.

В другой раз, пригласив нас к себе домой, он прочитал нам большой отрывок из исторического романа, над

которым тогда работал. Особое впечатление, помнится, почему-то произвели на нас длинные эпиграфы к каждой главе и имена, стоявшие под ними... Шекспир, Вальтер Скотт, Гюго, Стендаль... Эти имена для большинства из нас в ту пору еще были не открытыми островами, мы завидовали Эмке и испытывали гордость за него... Он тогда также заканчивал драматическую поэму и приступил к работе над романом в стихах.

Зная все это, можно не удивляться тому, что на Эмку, хотя он был моложе некоторых из нас, мы все смотрели чуть ли не как на своего учителя. И если еще учесть его открытую и искреннюю привязанность к нам, его способность зарядить всех и каждого веселым, приподнятым настроением, то станет совершенно ясной та роль, которую он играл среди нас. Вот почему у меня так забилося сердце, когда Эмка о моем рассказе сказал: «Хорошо!»

Мы все завидовали Гиршке, к которому Эмка относился с особой теплотой. Стихи свои Гиршке писал неизвестно когда и неизвестно где. Никто из нас никогда не видел его с карандашом и бумагой. Он никогда не предлагал нам послушать его стихи — об этом надо было спрашивать его. Был он великий молчальник. Мы могли часами шагать с ним, полностью отрешенные от окружающего нас уличного гомона, и молчать. Иногда он, вдруг нарушив молчание, как бы про себя, начинал читать строку за строкой. И неизвестно было, сочинил ли он эти строки давно, или они рождаются только теперь, на ходу...

Трудно было представить себе более противоположных людей, чем Эммануил и Гиршке. Несхожи они были во всем. И, может быть, именно поэтому Эмка к нему проявлял повышенный интерес. Но Гиршке этого как будто и не замечал. Единственный среди нас, он не считался даже с мнением Эмки, когда дело касалось его собственных стихов.

Однажды мы поздно вечером втроем — Эмка, Гиршке и я — возвращались из клуба домой. Гиршке, как обычно молчавший, вдруг заговорил. Он высказал, очевидно, давно затаенное желание — услышать мнение о своих стихах одного известного поэта.

— Вот как?! — воскликнул Эмка, называя поэта не по известной его фамилии, а просто по имени, как, очевидно, называли его у них в доме, и тут же добавил: — Хочешь, я завтра же сведу тебя к нему?

— Завтра? — растерялся Гиршке. — К чему такая спешка?

Эмка был в отличном настроении, и в такие моменты он нередко любил беззлобно подшучивать над своими друзьями.

— В кои-то веки, — сказал он, смеясь, — появилась у Гиршке смелая мысль — и он тут же, сразу, в кусты от нее.

— Не понимаю, к чему спешить? — повторил Гиршке со свойственным ему выражением обиженного ребенка и, нахмурившись, замолчал.

Но Эмку уже, очевидно, осенила какая-то идея. Вообще он был горазд на выдумки и планы, которыми тут же зажигался сам и зажигал ими всех нас.

— Идея! — воскликнул он. — С поэтом, — он опять назвал его по имени, — я познакомлю вас всех. Мы все заявимся к нему домой. Я знаю, он будет рад! К тому же он не только поэт, но и отличный прозаик. Мы все будем читать ему свои рассказы, стихи...

Назавтра Эммануил и мы всей компанией вечером явились к поэту. Эммануил чувствовал себя здесь как дома. Я же, Гиршке и другие были как бы заморожены всем происходящим. Впервые в жизни мы видели большого «живого писателя» не на портрете, не в клубе даже, а у него дома... Просторный, светлый кабинет с застекленными книжными шкафами и с картинами на стенах, казалось, излучал какой-то неведомый свет... Мы с восхищением смотрели на миловидную жену поэта, угощавшую нас чаем, на его маленькую дочь...

Я сидел на краешке стула, опасаясь лишний раз пошевелиться, слушал чтение моих товарищей, потом и сам что-то прочитал. И весь этот вечер не покидало меня ощущение нереальности всего происходящего... Неужто это правда, думал я, что мы, такие простые ребята (Эмка не в счет), сидим в доме у этого человека, чьи портреты отпечатаны в школьных хрестоматиях, и он слушает то, что мы читаем ему? Неужто ему, прославленному поэту Льву Квитко, больше нечем заняться? Рослый, плотный, большеголовый, с мягким, доброжелательным взглядом карих глаз, Квитко медленно шагал по кабинету и, вопреки ожиданию, говорил с нами очень тихо, чуть ли не шепотом.

— Из того, что вы здесь прочитали сегодня, — приглушенно говорил он, — видно, что в каждом из вас что-

то есть и что из всех вас может выйти толк. Но при одном условии, — еще тише добавил он, — если вы будете учиться и работать над собой. — И, как бы нашептывая каждому из нас важный секрет, добавил: — Наше с вами ремесло требует работы...

«Наше с вами ремесло», — сказал он и этим самым нас, молодых, только-только начинающих, как бы зачислил в свой цех, сделал своими братьями по перу...

Каждый из нас, разумеется, понимал, что все сказанное имеет, возможно, какое-то отношение к нашему будущему, но никак не к настоящему, когда хвастать еще совершенно нечем, но все же с того вечера мы стали уважительнее относиться сами к себе и, уходя от Квитко, чувствовали, что за спиной у нас выросли крылья.

— Ну, что я вам говорил? — хлопал нас Эмка весело по плечу.

Мы, конечно, были ему очень благодарны. Он впервые ввел нас в освященные чертоги поэзии и познакомил с одним из ее признанных жрецов.

Спустя некоторое время и я, набравшись решимости, тоже высказал свое сокровенное желание — о моих рассказах я хотел бы послушать мнение кого-либо из известных прозаиков.

— Это проще простого! — с готовностью отозвался Эмка и тут же назвал фамилию одного из маститых писателей.

Услышав эту фамилию, я оторопел. Меня испугала сама возможность войти в контакт с человеком, написавшим свои первые вещи, когда меня и на свете еще не было... С человеком, первые произведения которого оценивал сам Ицхок-Лейбуш Перец... И еще меня страшило: то, о чем этот человек в то время писал, как небо от земли отличалось от содержания моих первых рассказов. У меня — местечко, колхоз, фабрика... У него — сказочные горы, небожители... Этот крупнейший мастер слова отдавал тогда щедрую дань символизму, и я опасался, опустится ли он со своих высоких символистских небес на землю, чтобы поинтересоваться тем, что я написал.

Когда я высказал свои опасения Эммануилу, тот рассмеялся.

— Ты совершенно не знаешь его. — И вместо общеизвестного псевдонима писателя он назвал его по име-

ни, и я удивился, до чего это простое еврейское имя. — Пиня очень хороший человек, — сказал Эмка, — ты в этом убедишься сам.

И он действительно познакомил меня с ним. До того, по своей юношеской наивности, я был убежден, что искусство создают необыкновенные — даже внешне необыкновенные — люди. Причисляя себя к разряду людей обыкновенных, я был уверен, что никогда ничего значительного не создам. И Гиршке, и все остальные ребята ничего не создадут, потому что и они ничем не отличаются от обыкновенных людей. Единственным среди нас, обладавшим некоторыми признаками необыкновенности, незаурядности, я считал Эммануила и на него одного возлагал какие-то надежды. Печатью исключительности, казалось, был отмечен облик поэта Квитко, к которому нас привел Эммануил, так же как и дом поэта, его семья. «Счастливые, необыкновенные люди», — думал я о них.

И вот знаменитый писатель — Дер Нистор... Еще прежде чем он успел обратиться ко мне с первым словом, он уже перевернул вверх тормашками все мои прежние представления о людях, создающих искусство.

Очевидно, думал я, с изумлением глядя на него, искусство создают и обыкновенные люди... Все в этом человеке было чересчур даже обыкновенно — и рост небольшой, и манера держаться, и чуть согнутые плечи, и будничная одежда, и речь...

Я полагал, что Дер Нистор заговорит со мной о тех высоких материях, о которых пишет в своих сказках и эссе в только ему одному присущем, несколько затейливом, но так плавно и свободно льющемся стиле. Однако — ничуть не бывало! — совершенно неожиданно для меня он начал расспрашивать о моих родителях, о том, где и как они живут. Услышав, что живут они в Новозлатопольском районе Запорожской области и трудятся в колхозе, он заинтересовался, вдоволь ли имеют они хлеба. Я был ошеломлен: писатель, которого я представлял витающим всеми чувствами и помыслами в заоблачных высях, интересуется хлебом насущным... Так мог бы спросить и мой отец, простой еврей, никогда не помышлявший ни о каких высоких материях, — есть ли вдоволь хлеба.

Но что было действительно необыкновенно в этом человеке — его глаза: черные, большие, проницательные, они напоминали глаза Ицхока Переца, как мы представ-

ляем их по портретам. Выражение их во время беседы было полно доброты и благожелательности.

Меня уже вовсе не пугало, когда впоследствии несколько рассказов, которые должны были составить мою первую книжку, попали на рецензию к этому большому мастеру. Вернее, я не боялся, что он станет пренебрегать обыденным их, «земным» содержанием, но в то же время, конечно, очень опасался за их судьбу. Ведь он мог сказать, что рассказы эти просто плохо, беспомощно написаны. Полный душевного трепета, я отправился к писателю домой, когда он пригласил меня на беседу. В доме его на всем лежал тот же отпечаток простоты и безыскусности, что и на нем самом.

— Прочитал ваши рассказы, — сказал он.

И тут же добавил:

— Я в них ничего не исправлял. Инструмент свой вы уже довольно уверенно держите в руках.

Помолчав немного, продолжал:

— Но что удастся вам инструментом этим сделать в жизни — это зависит целиком от вас. Мой совет — вам надо учиться, много учиться. Это главное.

Учиться! Это было и моим сокровенным желанием. Писать и учиться! Ради этого я в шестнадцать лет оставил родное местечко, родительский дом, уехал в Харьков, работал, снимал угол, частенько недоедал. Учиться!

Потому-то и на предложение Эммануила поехать в Биробиджан я, спустя некоторое время, ответил:

— Не теперь. Сначала окончу институт.

* * *

Между тем Эмму осенила новая идея. О нашей небольшой группе начинающих поэтов и прозаиков уже знали в литературных кругах. Однажды, когда мы, по обыкновению, собрались вместе и познакомили друг друга с несколькими новыми рассказами и стихами, которые, помню, всем понравились, Эммануил, весьма обрадованный этим, вдруг воскликнул:

— Что же мы за литературная группа? У нас ведь нет еще и названия!

И тут же он объявил блицконкурс на лучшее название для нашей группы.

Никто из нас ничего не мог придумать. И тут Эммануил буквально сразил нас.

— «Птичье молоко», — сказал он.

— Почему «Птичье молоко»?

Эммануил охотно пояснил:

— Когда хотят сказать, что всего в достатке и даже сверх того, говорят: лишь птичьего молока не хватает... Так и в нашей литературе теперь лишь птичьего молока не хватает. И вот мы, молодые, и создадим это птичье молоко — самое лучшее и прекрасное, что только можно создать!

Эммануил искренне был убежден, что и он и мы на это способны. Что касается нас, его друзей, мы намного скромнее оценивали свои силы, но, слушая Эммануила, тоже прониклись большой верой и в него, и в самих себя, и в то, что мы способны создать невозможное.

— Ну вот, название у нас уже есть, — сказал Эммануил, — теперь необходимо нам выработать декларацию. Что же мы будем за группа без своей декларации?

Надо сказать, что всякого рода литературные декларации были тогда в большой моде. Мы предложили Эммануилу, чтобы он сам эту декларацию и составил, так как никому из нас никогда в жизни этим заниматься не приходилось. Что же касается Эмки, он умеет все, сумеет и это.

Но тот не согласился.

— Нашу декларацию мы должны составить сообща, — заявил он.

Решено было собраться еще раз, а пока каждый из нас должен был продумать, какие пункты следует включить в декларацию.

Собираться по этому поводу пришлось нам не раз, Эммануил все пытался вытянуть из нас что-либо путное, но безрезультатно.

— Понятия не имею, как это делается, — признался я. Отнекивался и Гиршке:

— Стихотворение — хорошо ли, плохо — написать могу, но декларацию — увольте.

Эммануил не на шутку рассердился. Волнуясь, он всегда начинал чуть заикаться.

— Писатель, — повысил он голос, — д-должен все уметь! А если н-нет, к-какой же он писатель?

— А никакие мы и не писатели, — сердито отозвался Гиршке и покраснел.

Эммануил больше ни на чем не настаивал. Мы давно заметили — никогда не терявшийся Эмка иногда пасовал

перед робким, застенчивым Гиршке. Так было и теперь, и мы разошлись ни с чем.

Но, как мы позже узнали, Эммануил не отступил от своего. Он решил посоветоваться с отцом.

В прохладной, полутемной комнате, где отец отдыхал в свободный час, Эммануил рассказал ему о нашей группе «Птичье молоко».

— Название придумал ты? — спросил отец у Эммануила, щуря под очками темные глаза.

— Я.

— Так я и знал.

— Почему?

— Я видел твоих ребят, когда они приходили к тебе. Хорошие, простые парни. Видно, крепко стоят на земле...

— А я? — спросил Эмка.

— Ты? — Отец озабоченно взглянул на сына. — И ты неплох... Но тебе не хватает... — Отец умолк.

— Чего?

— Не мешало бы и тебе поработать на заводе, иногда недоспать, недоесть, как они. Кстати, интересовался ли ты, как живут твои друзья, что едят после того, как ты с ними расстанешься?

Эммануилу стало не по себе. Нет, он не знает, как они живут и что едят, когда расстаются с ним. Он, по правде говоря, об этом и не думал, полагая, что с этим у них обстоит все так же благополучно, как и у него. И может ли быть иначе?

А отец между тем продолжал:

— Вот пожил бы ты хоть немного их жизнью, узнал бы истинный вкус простого куска хлеба и не искал бы ты птичьего молока... Им-то оно ни к чему...

Смысл этих слов тогда не дошел до Эмки. Всегда полный замыслов, идей, которые так и роились у него в голове, он в эти дни жил мыслями о декларации, с которой должна была выступить группа «Птичье молоко». После того как друзья отказались ему помочь, он сам набросал проект декларации и принес ее теперь показать отцу.

Любовь и забота сквозили во взгляде отца. Немолодой уже Генах Казакевич любил своего Эмку за то, что тот весь был в него — и темпераментом, и жизнерадостностью. Но, кроме того, сын обладал еще писательским даром. Отец понимал, что теперешние литературные опыты семнадцатилетнего Эммануила мало что стоят, в них

много книжного, надуманного и очень мало от жизни. Он пробует себя во всех жанрах — в поэзии, в прозе, драматургии, — и трудно сказать пока, в каком из жанров его будущее. Но в том, что будущее у него есть, отец был уверен, и это неведомое пока будущее он тоже любил в своем сыне.

И именно потому он жестко сказал:

— Все это выведенного яйца не стоит!

— Что именно?

— Да хотя бы вот это твое «Птичье молоко».

— Почему?

Генах приподнялся на локте — он лежал на кушетке у окна — и ответил, глядя сыну в глаза:

— Литературных организаций, всяких групп, группировок — хоть пруд пруди: «ВУСПП», «Ваплитэ», «Бой»... И чего же ты хочешь — чтобы была еще одна? А к чему? И, кроме того, у тебя сразу же спросят: «Что это еще за «Птичье молоко»? Чем оно может быть полезно рабочему классу?»

Эмка обиделся:

— Но нельзя же в вопросах искусства быть настолько утилитарным.

— Нельзя? Необходимо! — воскликнул отец.

— Отчасти об этом и речь в моей декларации. — Эмка протянул отцу несколько густо исписанных листков.

Генах не читая отложил их в сторону.

— И это лишнее.

— Но ты же не читал...

— Не в том дело.

— Но как же может утвердить себя литературная группа, не имея своей декларации?

— Очень просто. Пишите хорошие рассказы, стихи и поэмы — вот и утвердитесь!

Больше разговоров о декларации с нами Эмка не заводил. А о своей беседе с отцом он рассказал нам значительно позже.

Так и вышло, что название «Птичье молоко» нигде и никогда не было зафиксировано, и лишь мы, члены этой группы, иногда упоминали о нем — с легкой иронией, относившейся и к названию, и к самим себе...

Необходимо рассказать еще об одном эпизоде.

Как-то раз вся наша группа с Эммануилом во главе собралась в маленькой комнатухе на шестом этаже, у одного из знакомых Эмки. Парень этот — звали его

Сашей — работал на заводе. Отец его, ответственный работник, часто выезжал в командировки. На этот раз дома не было и матери, и мы, принеся с собой несколько бутылок вина и закуски, устроили что-то вроде вечеринки.

Не успели мы выпить по второй рюмке, как Эмка всех нас огорошил новостью:

— Завтра к нам в гости придет Михоэлс.

Сказал он это таким тоном, словно появление среди нас Михоэлса самое заурядное, будничное дело. Именно этим нас ошеломил.

Шутка сказать — Михоэлс! Мы столько читали, столько слышали о нем. Каждый из нас лелеял мечту увидеть его когда-нибудь на сцене. Но беседовать с ним? Об этом мы, разумеется, даже мечтать не могли.

Московский ГОСЕТ в те дни гастролировал в Харькове. На центральных улицах висели большие афиши на еврейском языке: «Десятая заповедь», «Три изюминки», «Путешествие Вениамина Третьего»... Нам очень хотелось побывать на этих представлениях, но все билеты давно были распроданы. И вот Михоэлс придет к нам... Это казалось невероятным, и я спросил:

— А зачем, собственно, к нам придет Михоэлс?

— Чтоб познакомиться с нами, — ответил Эммануил.

— А кто мы такие, — подал голос Гиршке, — чтобы Михоэлс отложил все свои дела и помчался знакомиться с нами?

— Очевидно, это ему интересно, — сказал Эммануил, и нам все еще было неясно, шутит он или говорит серьезно.

— А откуда тебе известно, что интересно Михоэлсу? — спросил Гиршке.

— Я разговаривал с ним.

— Ты? С ним?

— Ну да.

— Когда же?

— Вчера. Вчера днем мы с отцом зашли в театр на репетицию. Отец и Михоэлс старые друзья. Он познакомил меня с ним. Ну, и я рассказал ему о нашей группе «Птичье молоко».

— И он тебя стал слушать?

— Да еще с каким интересом! Потом сказал: «Так, может быть, ваша группа «Птичье молоко» сообща возь-

мется и напишет для нашего театра хорошую современную пьесу?»

— Так и сказал?

— Слово в слово.

Мы расхохотались.

— Чему вы смеетесь? — рассердился Эмка. — Я ему ответил, что это вполне возможно, и он сказал, что придет с нами лично об этом поговорить.

Тут же Эммануил прочел нам «лекцию» о значении репертуара для театра.

— Без современного репертуара, — сказал он, — театр не может жить. В этом деле никакие классики — ни Менделеев, ни Шолом-Алейхем, ни Перец — ничем ему помочь не могут. Тут можем помочь только мы...

— Пьес я писать не умею, — решительно заявил Гиршке.

— Ой, Гиршке, Гиршке! — обратился к нему с упреком Эммануил. — Ты еще и сам не знаешь, на что способен. Да и всех нас если хорошенько потрянуть, еще такое можно вытряхнуть...

Я в эту ночь не сомкнул глаз. Из головы не выходил завтрашний вечер. Как это все обернется? Что нам скажет Михоэлс? И что мы скажем ему?

Назавтра мы опять встретились в маленькой комнатке Саши на шестом этаже. Все были взволнованы. Эммануил, радостно-возбужденный, каждый раз вскакивал из-за стола и бежал к двери. Ему казалось, что звонят.

Прошел час.

— Вероятно, где-то задержался, — успокаивал нас Эмка и снова бежал к двери.

Михоэлс не пришел.

Мы не допускали мысли, что Эмка обманул нас, — на такое он не был способен. Он с Михоэлсом говорил, и тот обещал ему прийти. Значит, обманул Михоэлс. Но и в это мы не могли поверить. Скорее всего — забыл или какие-то важные дела помешали ему прийти к нам.

Эммануил был огорчен. Мы тоже. Но, говоря по правде, в глубине души мы были довольны, что «смотрины» не состоялись. О чем мы, желторотые юнцы, могли тогда говорить с Михоэлсом?

* * *

Вскоре Эммануилом овладела еще одна идея, вытеснившая все прежние, — Биробиджан. Отца его посылали

туда на руководящую работу, и Эмка решил поехать вместе с ним. Более того — он был глубоко убежден в том, что поехать с ним должна вся группа «Птичье молоко», в полном составе. Именно там, говорил он, на дальневосточной земле, мы как следует расправим крылья.

Тогда-то я и ответил Эммануилу, что останусь пока здесь, поступлю в институт, а по окончании его приеду в Биробиджан. Он пытался меня переубедить, но, увидев, что я твердо стою на своем, отвернулся и холодно проронил:

— Поступай, как знаешь.

Эммануил уехал с отцом в Биробиджан. Мать его пока еще оставалась в Харькове. Уехало и несколько ребят из «Птичьего молока».

Через год Эмка вернулся в Харьков за матерью. Он порядком изменился за этот год — стал выше ростом, заметно похудел, лицо загорело на дальневосточном солнце.

— Да, солнце у нас жарит посильнее, чем здесь! — сказал он. Слова «у нас» относились ни к городу, где прошло его детство и начало юности, а к дальневосточной земле, на которой он прожил всего лишь год. Но, видимо, этот один-единственный год имел в его жизни едва ли не большее значение, нежели все прожитые до этого годы.

Привез он с собой тонкую книжечку своих стихов, отпечатанную в типографии биробиджанской районной газеты. Книжка была в скромной обложке, бумага серая, газетная. Это была первая книга Эммануила Казакевича и первая книга на еврейском языке, отпечатанная в том далеком крае.

Вместе с Эммануилом приехал молодой кореец Ким — славный паренек с черными раскосыми глазами. Эммануил всюду брал его с собой и представлял как своего близкого друга. Юный кореец улыбался всем доброй белозубой улыбкой и на ломаном русском объяснял, что Эммануил отличный товарищ, они с ним ловят рыбу на Бире и в Амуре и вместе ходят в тайгу на охоту.

Молодой кореец Ким — в этом, по-видимому, заключалась его главная роль — должен был подтвердить перед всеми харьковскими друзьями и знакомыми Эмки, что там, в далеком Биробиджане, действительно все но-

во, молодо, прекрасно, что в этот богатый, изобильный край не только можно — нужно ехать!

Вскоре Эммануил вместе с матерью и Кимом уехал обратно в Биробиджан.

Письма от него приходили редко, но стало известно, что в Биробиджане Эммануил с первых же шагов окунулся в работу, быстро накапливая тот жизненный опыт, которого ему не доставало раньше.

Работал он и председателем колхоза, и заведующим Домом культуры, позднее стал организатором и первым директором местного театра. Перевел несколько пьес, поставил и свою веселую комедию. Но театр отнимал слишком много времени, и он перешел на работу в редакцию газеты. Здесь он имел возможность часто бывать в командировках, встречаться с людьми, писать о них.

На этой работе я и застал Эммануила, когда после окончания института приехал в Биробиджан.

К этому времени Эммануил уже жил один. Незадолго до того, в течение одного года, умер отец, а спустя несколько месяцев и мать. Жил он теперь в той большой квартире, которую раньше занимала вся семья.

Не нашел я и следа той беззаботной улыбки, которая ранее, во времена «Птичьего молока», сквозила обычно в уголках его мальчишески припухлых губ. Лицо его осунулось. Передо мной стоял мужчина с жестковатым взглядом, говорившим о пережитых испытаниях и о твердой решимости ни перед какими испытаниями не пасовать.

Гиршке мало изменился. Он успел уже отслужить в армии, на границе, и опять работал в редакции. Остался он тем же застенчивым молчальником, каким был прежде. И теперь никто не знал, когда он пишет свои стихи, да и пишет ли он их вообще. Но в стихах его, которые он изредка печатал в газете, все более отчетливо проступала зрелость.

Что касается других членов группы, некогда входивших в состав «Птичьего молока» и приехавших сюда вместе с Эммануилом, один работал в местном радиокомитете, второй уехал учиться в Москву.

В Харьковском педагогическом институте меня интересовал литературный факультет — я и поступил туда после окончания специальных подготовительных курсов. Через год я перевелся в Московский институт, на тот же факультет. После окончания — долг платежом красен —

нужно было поступить на педагогическую работу. В одной из биробиджанских школ, куда меня направили преподавать литературу и язык, совершенно неожиданно для меня самого я обнаружил в себе склонность к педагогической работе, и дела у меня пошли на лад. К одному только не мог привыкнуть — к составлению подробных планов каждого урока. Не понимал: к чему, собственно, надо заранее так уж тщательно все раскладывать по полочкам? Урок, полагал я, — это ведь творчество и в значительной мере импровизация. Необходимо хорошо знать, что тебе нужно сказать, а как сказать — это зависит от способностей, таланта. Потому-то у себя в тетради я записывал план урока совсем кратко: тема, что спросить, что задать на дом. Заведующая учебной частью, Лиза Моисеевна, добрая, приветливая и милая женщина, в то же время была, как и подобало ей по должности, довольно строгой и несколько раз указывала мне на то, что мои планы необстоятельны. Она даже специально посетила несколько моих уроков, желая проверить меня. Но, очевидно, уроками она осталась довольна, так как больше моих планов не проверяла и замечаний мне не делала.

Работа в школе — подготовка к урокам, просмотр тетрадей, внеклассная работа (я руководил и школьным литературным кружком) — отнимала много времени. Учителей тогда было мало, мне дали еще часы в вечерней школе. Поэтому с Эммануилом и Гиршке я мог теперь видаться только изредка, тем более что они сами частенько бывали в командировках. Эммануил к тому времени приобрел немалый авторитет в городе, был членом обкома комсомола. И получилось так, что я его не видел долгое время, вплоть до того вечера, когда он, только что вернувшись из командировки, пригласил всех нас к себе, чтоб познакомить со своим новым другом Шоломом Либкиным.

Глава третья

В фойе театра стоял приглушенный гул. Медленно, встречными потоками, двигались люди, переговариваясь кто тише, кто громче. С каждой минутой в фойе становилось теснее. Два ряда плафонов разливали матовый свет.

Слева, поближе к двери, стояли Галя, Сима и Лиля. Все были принаряжены, каждая на свой вкус, каждая по-своему привлекательна. Только в глазах у Гали пробегали искорки досады.

— Что ты расстраиваешься? Разве ты не знаешь, где он? — спросила Лиля.

— Почему же не знаю? — тихо ответила Галя. — Он за кулисами. Где же еще ему быть перед премьерой?

— Такой уж он, Эмка, его не переделаешь, — встала Сима.

— Да я вовсе не хочу его переделывать, — сказала Галя, — пусть будет такой, какой он есть, но пусть он только б у д е т.

Девушки рассмеялись, и звонче всех Лиля. В платье из светлого крепдешина, она сегодня была особенно привлекательна и вся светилась в радостном возбуждении.

— Что-то не стоитя тебе сегодня на месте, — заметила Сима.

— Не выдумывай! — Лиля рассеянно глядела по сторонам, ища кого-то глазами, и — нашла!

Шолом Либкин, высокий, с холеной бородой, сразу же бросался в глаза, в каком бы углу фойе не появлялся, и всюду, где появлялся, усиливалось движение вокруг него, как в реке, когда в стаю мелких рыбешек заплывет вдруг крупный осетр...

В театр пришел он вместе с Эмкой, Гиршке и девушками — Галей, Лилей и Симой. Эмка тут же оставил их, проронив: «Я туда и обратно». Кто-то отозвал Либкина, Лиля потеряла его из виду, потом нашла и наблюдала, как он переходит от одной группы к другой, вовсе забыв о тех, с кем сюда пришел.

С девушками остался один Гиршке. Он чувствовал себя с ними очень неловко, а когда в этой сутолоке его ненароком прижали к Симе, он и вовсе растерялся. Переминаясь с ноги на ногу, он искал и не находил предлога, чтобы уйти. Был он в том же будничном пиджаке, в котором его можно было видеть на работе в редакции, и его ничуть не волновало, что этим он невыгодно выделяется среди празднично приодетой публики. Единственной данью торжественности этого вечера в наряде Гиршке был криво повязанный необъяснимого цвета галстук.

Вдруг он вздрогнул, ощутив у себя на шее внезапное прикосновение ловких пальчиков Симы.

— Галстук у тебя совсем съехал набок, — сказала она.

Это было уже слишком! От растерянности Гиршке так резко повернул голову, что галстук съехал еще больше, а сам он нырнул куда-то в сторону и был таков.

Но тут, как на беду, перед ним вырос Шойлек Ушацкий!

Когда Шойлек Ушацкий появлялся в редакции, Гиршке убегал в другую комнату и просил сказать, что он в командировке. Шойлек в печенках сидит у него со своими бесчисленными стихами и рассказами, которые не перестает приносить в редакцию. И вот он тут как тут перед ним — долговязый, в роговых очках с одним надтреснутым стеклышком.

— Только не стихи, Шойлек! — взмолился Гиршке. У Шойлека уж такая привычка — кого ни встретит, тут же начинает наизусть читать свои стихи.

— Какие могут быть стихи? — обычной скороговоркой выпалил Шойлек. — Мы ведь не где-нибудь, а в театре.

— Вот-вот, — успокоился Гиршке.

Шойлек, совсем молодой еще парнишка, учился на втором курсе педагогического техникума. Он очень гордился тем, что родители его приехали на станцию Тихонькую с самым первым эшелоном, еще в 1928 году, и любил рассказывать, как на первых порах они тут «хлебнули горя». Об этом же Шойлек писал в своих стихах и рассказах, но когда он рассказывал просто, без затей, слушать его было интересней.

— Театр этот, — сказал он, — мы строили своими руками.

— Кто мы? — спросил Гиршке.

— Что значит кто? Я, мой отец, моя мать, мои братья, мои сестры, мои...

— Что же, одна ваша семья, выходит, его и построила?

— Нет, почему же? Весь город строил! Один разве субботник мы тут вкалывали? Глину месили — пар шел! Из глины делали блоки, из блоков клали стены. Вы знаете, что наш театр построен из глинобитных блоков? — Шойлек сказал это таким тоном, словно речь шла по меньшей мере о граните или лабрадоре...

— Ну, а хотя бы одно стоящее стихотворение ты об этом написал? — спросил Гиршке.

— Одно стихотворение? Сколько я их вам уже показывал!

— Нет, Шойлек, те стихи, что ты мне до сих пор показывал, не то... Напиши такое стихотворение, чтоб каждое слово его так же плотно лежало в строке, как глинобитные блоки в этих стенах. Ты понял меня?

— И тогда вы напечатаете?

— Конечно!

У Шойлека от неожиданности чуть-чуть с носа не упали очки, и в ту же минуту его как ветром сдуло. Не иначе, подумал Гиршке, как побежал «замешивать» новые стихи.

Гиршке не раз доводилось бывать в еврейском театре в Киеве, Москве. Он видел крупнейших мастеров сцены — Михоэлса, Зускина. И теперь, в фойе, после того, как Шойлек Ушацкий оставил его одного, он вдруг ощутил в себе настроение, схожее с тем, которое испытывал когда-то в Московском ГОСЕТе. Но что общего, с удивлением подумал он, между этим совсем молодым еще театром и тем, всемирно прославленным? Разве только одно то, что большинство местных актеров училось в театральной школе при ГОСЕТе и вылетело, таким образом, из гнезда Михоэлса. Нет, не одно это, были и другие связующие нити...

Но Гиршке не удалось додумать эту мысль до конца.

— О чем замечтался наш поэт? — Эти очень громко произнесенные слова вместе с увесистым хлопком по спине обрушились на Гиршке совершенно неожиданно откуда-то сверху. Он поднял голову.

— А, Клафтерман? Гилел Клафтерман?

Это был известный стахановец с обозостроительного завода. Гиршке не раз писал о нем в газете.

— Как дела?

— Как видишь, всем семейством пожаловали в театр. Мы не пропустили еще ни одной премьеры.

Клафтерман придвинулся ближе.

— Когда мы, ребята из Аргентины, в тридцать первом приехали на станцию Тихонькая, а потом отправились в Волочаевку строить коммуну «Икор», могли ли мы тогда думать, что у нас вскоре будет здесь такой театр?.. Ну ладно, мечтай, поэт, мечтай, не буду мешать! — махнул он на прощанье рукой. — Я где-то в толпе тут потерял жену и сына...

Гиршке так и не мог вспомнить, о чем он думал до

появления Клафтермана, и сейчас, когда тот удалился, стал думать о нем и его аргентинских «ребятах». Шутка сказать, откуда их сюда принесло, — из Южной Америки! И разве только оттуда приезжали сюда? Гиршке внимательно вгляделся в публику. Вот неподалеку стоят со своими женами несколько молодых мужчин из Литвы. А вон та красивая парочка — из Польши, — учитель и учительница. Чуть поодаль стоит пожилая, со вкусом одетая женщина — она из Парижа.

Всматриваясь в лица людей, заполнивших фойе, Гиршке вдруг увидел в противоположном конце чету Шпиглер. Они стояли в группе мужчин и женщин, работников швейной фабрики, и о чем-то оживленно с ними беседовали. Сам Шпиглер невысок, у него круглое, немного бледное лицо со спокойным, мягким выражением светлых глаз. Она выше его, голова гордо вскинута в обрамлении вьющихся черных как смоль волос. В длинном вечернем платье она выглядела очень эффектно. Вениамин Исаакович — так звали его, Мариам Абрамовна — ее. Знакомые звали ее просто Мариам, а между собой — «красавица Мариам». Из-под темных крыльев бровей ее блестящие черные глаза и не пытались скрыть сознания своей красоты.

Гиршке хорошо знал Шпиглеров. Как-то раз он пришел на фабрику — нужен был репортаж для первомайского номера. Секретарь партбюро, с которым он посоветовался о том, кто заслуживает быть включенным в праздничный репортаж, в числе других назвал и заведующего закройным цехом Вениамина Исааковича Шпиглера.

— Это опытейший мастер, — сказал о нем секретарь, — если хотите — профессор в своем деле, и к тому же очень скромный человек. Новые методы работы, которые мы ввели с его помощью, позволили достигнуть высокой производительности труда и отличного качества.

Гиршке встретился с Вениамином Исааковичем, узнал все, что требовалось для репортажа, и уже собирался уходить, когда тот вдруг заметил, что знаком с его стихами, что они ему нравятся и что стихи эти особенно по душе его жене.

Для Гиршке это оказалось полнейшей неожиданностью.

— Ваша жена тоже работает на фабрике? — спросил он.

— Нет, она не работает, — ответил Шпиглер, — она больна. Но много читает, любит поэзию Блока, например, знает почти всего наизусть.

— Блока? — удивленно переспросил Гиршке. — Это мой любимый поэт.

Назавтра Гиршке побывал у Шпиглеров дома. Жена Вениамина Исааковича почему-то представлялась ему пожилой болезненной женщиной, к тому же близорукой, в очках. Он был немало удивлен, когда на пороге опрятно прибранной, уютной квартиры его встретила высокая, довольно молодая и красивая женщина. Гиршке даже растерялся было в первые мгновения и уже не рад был собственной смелости, приведшей его сюда, но деваться было некуда. Он вошел в дом, и не прошло и получаса, как от его чувства растерянности не осталось и следа. Он даже не заметил, как пробежали несколько часов, которые провел здесь.

В первый же вечер их знакомства Мариам ему читала Блока.

— Что бы вы хотели послушать сначала? — спросила она, взглянув на него своими большими, черными, сияющими глазами.

— «Незнакомку».

— Хорошо.

У Мариам был такой приятный голос, что ему могла бы позавидовать профессиональная актриса. Читая, она как бы раскрывала душу каждого слова, каждой строки. Когда она кончила, Гиршке долго и восхищенно жал ей руки — такое с ним случалось впервые.

— Читайте еще! — едва слышно прошептал он.

И она читала.

Гиршке стал часто бывать у Шпиглеров. У них исчезали его обычные застенчивость, скованность, робость, он чувствовал себя легко и непринужденно.

Однажды — это было днем — они вдвоем сидели с Мариам в ее уютной, затемненной широкими шторами комнате. Она читала ему Блока, а он ей — свои стихи, — честь, которой редко кто удостоивался. Прослушав несколько его стихотворений, Мариам заметила, что они чем-то напоминают ей стихи Шварцмана.

— Вы знаете Шварцмана? — изумленно спросил Гиршке.

— Чему вы удивляетесь? — ответила Мариам. — Шварцмана я очень люблю. Почитать вам что-нибудь?

— Больше всего я люблю у Шварцмана стихотворение о матери: «Не нужен мне сейчас никто, а только...»

— «...мама, — подхватила Мариам. — Будь она со мной, я ей сказал бы...»

Она наизусть прочла это стихотворение до конца. Гиршке смотрел на Мариам широко раскрытыми глазами.

— Почему же вы молчали о том, что... — тихо произнес он.

— О чем именно?

— Что в Биробиджане живет женщина, блестяще знающая Блока и Шварцмана — двух моих самых любимых поэтов...

— Я полагаю, что в Биробиджане, может быть, живет не одна такая женщина, — ответила Мариам.

— Вы так думаете? — спросил он и заметил в ее глазах веселые огоньки. Никогда еще Гиршке так не хотелось обнять женщину, как в эту минуту Мариам. Но он испугался этого своего внезапного желания и... бежал. Самым обыкновенным образом — открыл дверь и бежал. А она с порога долго смотрела ему вслед...

После этого он не показывался у Шпиглеров. Пришел тогда лишь, когда, по его представлениям, эпизод с его бегством наверняка уже был предан забвению.

После обеда Вениамин Исаакович ушел на работу. Мариам принялась за мытье посуды, и, хлопоча по хозяйству, она выглядела по-особому грациозной и обаятельной.

Протянув Гиршке чистое полотенце, сказала:

— Не скучайте. У меня никто не сидит без дела. Помогите протереть посуду!

Некоторое время оба делали свою работу молча.

— Я больше никогда не буду вам читать стихи. А еврейские — подавно, — заговорила Мариам.

— Почему? — спросил Гиршке с застывшей вдруг в его руках фарфоровой тарелкой.

— Потому что не хочу, чтоб вы снова от меня бежали.

Тарелка выпала у Гиршке из рук. «Значит, не забыла...» Смущенный, он нагнулся, — тарелка, к счастью, оказалась цела.

— Считайте, что вам повезло, — смеясь, сказала Мариам.

— А если бы разбилась?

— Я не потребовала бы у вас новой взамен, нет! Во-первых, вы такой тарелки теперь не найдете...

— А во-вторых?

— Я бы потребовала с вас...

— Чего?

— Стихов!

— Стихов? — Гиршке, вдруг почувствовав в себе какую-то большую легкость, свободу, протянул руку Мариам: — Подавайте-ка скорее ваш альбом!

— Что еще за альбом?

— Тот, в который поэты записывают вам на память свои стихи.

— Какие поэты? — весело рассмеялась Мариам. — Среди всех моих знакомых вы первый, который...

— А Шварцман? А Блок?

Мариам смотрела на него своими сияющими черными глазами.

— Вы действительно думаете, что такой обыкновенной женщине, как я, поэты могли бы посвящать стихи?

— Обыкновенной женщине? — воскликнул Гиршке. Он вырвал листок из своего блокнота. — Сколько вы даете мне времени?

— На что?

— Чтобы написать вам стихи.

— Мне — стихи? Да сколько угодно!

Она удалилась на кухню, пытаясь скрыть свою радость по поводу того, что ей собираются посвятить стихи.

— Я пока займусь своим хозяйством, — сказала она.

Вернувшись затем в комнату, Мариам заметила на столе исписанный листок.

— Читайте, — сказал Гиршке.

Мариам взяла листок. Стихотворение называлось «Небесная тарелка».

Мне сейчас никто не нужен,
Кроме Мариам,
Будь она моею, я бы ей сказал:
— С неба тарелку достань,
Милая моя, — она тебе
По заслугам дань.

Лицо Мариам залилось румянцем. Дальше она читала про себя, пробегая глазами от строчки к строчке. Затем подошла к Гиршке и поцеловала его в лоб. В эту минуту дверь отворилась и вошел Шпиглер. Он вернулся с работы. Гиршке как-то по-детски растерялся. А Мариам,

спокойно отойдя от него, протянула Вениамину Исааковичу листок со стихотворением:

— Посмотри-ка, что подарили твоей жене.

И тут же рассказала о фарфоровой тарелке и о том, как появилось стихотворение.

Шпиглер выслушал Мариам, прочел стихи, потом подошел к Гиршке и протянул ему руку:

— Спасибо!

— За что?

— За стихи.

— Но...

— Нет-нет, — сказал Шпиглер, — мне самому давно уже следовало подарить стихи Мариам. Но как поэт я никуда не гожусь. Раза два пробовал — ничего не вышло. Случаются и среди хороших закройщиков плохие поэты, ничего не напишешь... А вот вы сделали это за меня. Благодарю!

Сказал он это искренне, просто, и Гиршке, совершенно успокоенный, пожал руку Шпиглеру.

В тот вечер они еще долго сидели втроем. Шпиглер рассказывал о своей жизни на чужбине, о том, как в 1917 году приехал в Одессу, где во время гражданской войны его чуть было не расстреляли деникинцы.

Потом они долго гуляли по петляющим переулкам вокруг швейной фабрики.

Увидев теперь в фойе Шпиглеров, Гиршке направился к ним, но на полпути остановился. Он заметил, что высокий журналист из радиокомитета, старый холостяк и циник, которого Гиршке недолюбливал, подводит к Шпиглерам Шолома Либкина. Он, собственно, не знал почему, но ему страшно не хотелось, чтобы состоялось это знакомство. Однако ничего не поделаешь, вот они ужежимают друг другу руки, и Мариам смотрит на Либкина с нескрываемым интересом.

Кроме Гиршке еще один человек внимательно и ревниво наблюдал за этим знакомством — Лиля. Девушка заметно расстроилась, когда Либкин покинул их, и с нетерпением ожидала его возвращения. Сколько раз ей казалось, что он уже направляется к ним, но каждый раз его кто-нибудь перехватывал. Девушки все еще стояли одни. Эмка так и не вернулся из-за кулис, а потом и Гиршке куда-то исчез.

И вот Либкин наконец направился к ним. Но что это? Около него точно из-под земли вырос какой-то долговя-

зый субъект, — ах, да, он работает, кажется, в радио-комитете, — и уводит с собой. Куда же? А вон туда, где стоит та высокая женщина.

Гиршке так и не подошел к Шпиглерам. Не хотелось ему оказаться с ними в одной компании с Либкиным. К девушкам он тоже не пошел. Со всех сторон его толкали, и он, забившись в самый дальний уголок фойе, так и остался здесь стоять, продолжая наблюдать отсюда за Шпиглерами.

Кто бы мог подумать, размышлял он, глядя на невысокого, тихого и мягкого Вениамина Исааковича, что у этого человека за плечами такая непростая жизнь? Жил в Лондоне, приехал туда пареньком из польского местечка. Немало намытарился, пока стал мастером в своем деле. Активно работал в лондонском профсоюзе закройщиков. Когда в России свершилась Октябрьская революция, его потянуло сюда. В гражданскую войну был на Украине, стал одним из первых организаторов советских профсоюзов в Одессе. Там и встретил Мариам — молоденькую красивую швею. Девушка была опасно больна туберкулезом. О том, чтобы они поженились, она и слышать не хотела — считала, что жить ей осталось недолго. И кто знает, что было бы с ней, если бы не он, Шпиглер. Вот уже многие годы все его заработки уходят на ее лечение, на курорты. Он вырвал ее у смерти и счастлив тем, что она живет.

После Одессы они жили в Москве. Шпиглер работал на большой швейной фабрике. Начитанный, культурный человек, он состоял членом художественного совета Московского государственного еврейского театра. Он и Мариам не пропускали ни одного представления, Шпиглер принимал участие в обсуждении спектаклей, и к его мнению прислушивались. Однажды даже случилось так, что между ним и Зускиным вспыхнул небольшой спор. В конце обсуждения слово взял Михоэлс и поддержал его, Шпиглера. Конечно, сделал он это на свой лад, весьма тактично и остроумно.

— Я, — сказал Михоэлс, — Вениамин Третий, заявляю, что в споре между двумя Вениаминами — Вениамином Зускиным и Вениамином Шпиглером — правота на стороне Вениамина Второго...

Так оно и осталось.

Обо всем этом Гиршке знал из бесед со Шпиглером и Мариам. И сейчас, стоя в отдаленном углу фойе, он

вдруг вспомнил, о чем думал, когда к нему подошел Клафтерман, — ну да, он думал о нитях, связывающих этот молодой биробиджанский театр с тем большим, всемирно известным... Вот и он, Шпиглер, размышлял Гиршке, разве не одна из этих нитей? Он, и такие, как он, и многие из тех, что пришли сегодня в театр, оказались ведь здесь не случайно, как не случайно они оказались и в Биробиджане. Шпиглера, например, привело в Биробиджан желание приложить свои силы к чему-то значительному, важному, — то же самое желание, которое двадцать лет тому назад привело его с берегов Темзы на берега Черного моря.

Из Лондона в Одессу, из Одессы в Москву, из Москвы в Биробиджан — таков путь, который проделал этот с виду тихий, спокойный, мягкий человек. Вот он молча стоит там, в противоположном углу фойе, пока его жена разговаривает с Либкиным, и терпеливо ждет звонка, после которого можно будет войти в зал.

Гиршке перестал смотреть в их сторону и заставил себя думать о другом. Молодой театр, размышлял он, может стать новым творческим содружеством, — возможно, вторым ГОСЕТОМ. Почему бы и нет? В любом деле стремиться надо к высоким целям, иначе и не стоит ничего затевать. Вот и в Биробиджане сам воздух как бы пропитан стремлением к чему-то большому, важному. И не потому ли все, что здесь успели уже создать, — первые заводы, фабрики, улицы, — выглядит в глазах их строителей весомее, значительнее, нежели они на самом деле... Вот и здесь, в этом небольшом театре, здание которого построено из глинобитных блоков, царит теперь атмосфера, присущая театру какого-нибудь большого города, и без малейшего намека на провинциальность. А уж зрителями, собравшимися здесь, и подавно можно гордиться.

Обо всем этом Гиршке размышлял, рассматривая большую афишу на противоположной стене фойе с крупно набранным словом «Бойтре». В слове этом звучало что-то набатно-громовое, волнующее. Это было название спектакля, на премьеру которого и собрались все эти люди, до отказа заполнившие фойе.

Прозвенел звонок. Двери распахнулись, и в зал хлынули первые потоки зрителей.

— Злишься? Не надо...

Неожиданно и непонятно каким образом Эммануил

очутился возле Гали. Он ласково дотронулся до ее руки.

— Меня немного задержали.

— Немного? — переспросила Галя. — Без тебя, видно, там нельзя было обойтись?

— Да что ты? Посмотрела бы, как все взволнованы, возбуждены. Как же не поддержать ребят в такую минуту?

И громко, чтобы слышали все, продолжал:

— Это будет прекрасный спектакль. В Биробиджане еще такого не видели! Да не только в Биробиджане...

Гиршке, виновато улыбаясь, подошел к Симе. Он, может быть, и не подошел бы, но их места были рядом.

— Куда это ты запропастился? — спросила Сима. Она старалась казаться равнодушной, но это ей плохо удавалось.

Гиршке, пропустив ее вперед, пробормотал что-то невнятное.

Лишь одна Лиля так и не дождалась Либкина. Уже усевшись на свое место около Симы, она вдруг увидела его, входившего в боковую дверь фойе вместе со Шпиглером и его женой. Галантно откланявшись ей, Либкин, улыбаясь в холеную бороду, направился к ложе направо и вскоре появился там, рядом с Эммануилом и Галей.

— Что-то ты сегодня сам не свой, — заметила Сима, глядя на Гиршке.

— Тебе кажется.

— Надеюсь, ты уже больше никуда не сбежишь? Сейчас ведь начнется спектакль, я все-таки поправлю тебе галстук.

Гиршке опять почувствовал у себя на шее ловкие пальчики Симы.

В зале стало темно. В ярком свете прожекторов чуть колыхался зеленый бархатный занавес. Вот он медленно начал раздвигаться, и в зал потекла старинная и вместе с тем чем-то очень близкая мелодия:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

Как только по окончании первого акта в зале вспыхнул свет, Эмка тут же устремился за кулисы.

— Хорошо, очень хорошо! — говорил он, радостно пожимая руки актерам.

Лица актеров под гримом лоснились от пота, глаза дихорадочно блестели и выражали неумное желание

услышать, что все идет хорошо... Эмка и говорил им, что все идет прекрасно, подбадривая их и будучи действительно уверен, что каждый из них сегодня превзошел себя.

В антракте Либкин снова гулял в фойе со Шпиглерами. Беседовал он в основном с одной Мариам. У обоих радостно светились лица, от этого они выглядели еще красивей, и люди, не знавшие их, говорили:

— Что за прелестная пара!

Шпиглера при них как-то не замечали. Но Мариам то и дело обращалась к нему с вопросом: «Как ты полагаешь, Нюмочка? Не так ли, Нюмочка?» Шпиглер понимал: она это делает для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким, — и каждый раз утвердительно кивал ей в ответ головой.

Во втором антракте Лиля не выдержала и встала у ступенек лестницы, ведущих из ложи в фойе. Мимо нее пробежал Эммануил, — видно, опять за кулисы, — и даже не заметил ее. А вот и медленно спускается Либкин. «Заметит или нет?» У Лили сильно забилося сердце.

Да, заметил. Подошел, как тогда, на вечеринке, и, взяв ее двумя пальцами за подбородок, словно маленькую девочку, спросил:

— Ну как, нравится?

И, не дожидаясь ответа, пошел.

Лиля двинулась было вслед за ним, но тут же опомнилась. Хотела что-то крикнуть ему вдогонку и не смогла. На глаза навернулись слезы. Он, видимо, вовсе считает ее ребенком, малым ребенком... Ну конечно, куда ей до той женщины, от которой он весь вечер не отходит!

А Либкин снова гулял со Шпиглерами в фойе. Говорили о спектакле, об игре актеров. Разговор зашел о Моисее Кульбаке — авторе пьесы.

— Так он, оказывается, не только хороший поэт и прозаик — чего стоят хотя бы его «Зелменянер»! — но и драматург превосходный! — восхищалась Мариам. — Не так ли, Нюмочка?

— Именно так... — поддержал ее Шпиглер.

— А вы как считаете? — обратилась Мариам к Либкину.

Тот наклонился к Мариам и, как-то странно улыбаясь в холеную бороду, сказал:

— С Кульбаком я знаком лично. Знаете, у него очень большие и некрасивые уши...

Мариам посмотрела на Либкина, и в ее больших глазах застыло удивление.

— Вы шутите? При чем тут...

— Я говорю вполне серьезно.

— Оказывается, Либкин, вы злой человек, — сказала Мариам.

Прозвенел звонок, и все направились в зал.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали артистов. Ярко освещенный зеленый бархатный занавес то и дело раздвигался. Публика не расходилась, аплодировала. Это был настоящий триумф.

Эммануил ушел за кулисы — на этот раз вместе с Галей и Либкиным. Туда же направились и Шпиглеры.

Гиршке и Сима тоже устремились было за сцену, но на полпути Сима остановилась.

— Иди один, — сказала она, — а я-то что еще за шишка?

— А я, думаешь, велика шишка? — сказал Гиршке.

— Но ты работаешь в редакции, знаком с актерами.

— Я успею их завтра поздравить.

Гиршке не любил сутолоку и шум, царящие обычно за кулисами после премьеры. Он почему-то чувствовал себя лишним, и сейчас, когда Сима отказалась идти за кулисы, он охотно присоединился к ней, и они вместе направились к выходу.

У Лили не было знакомых среди актеров. Но она все же решила пройти за сцену. Там толпилось теперь так много людей, что Лилю никто не заметил. Она из своего угла, где приткнулась, видела все — плачущих от радости артистов и приветствовавших их зрителей. Вот Либкин поочередно пожимает руки актерам и актрисам и при этом что-то говорит, усмехаясь в холеную бороду.

Понемногу стали расходиться. Вот прошли к выходу Либкин и Шпиглеры, и Лиля готова была врасти в стену, чтоб ее не заметили. Не заметили. Никого почти уже не осталось за кулисами. Чего же ждет она? Лиля сделала над собой усилие, и наконец-то ей удалось оторвать ноги от пола. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как перед нею точно из-под земли вырос Либкин.

Откуда взялись у нее силы так стремительно ринуться мимо него? Но он схватил ее за руку и пробежал вниз, вслед за ней, несколько ступенек.

— Куда ты убегаешь, девочка? — добродушно обронил он. — Я хочу проводить тебя домой.

— У вас есть кого провожать! — с обидой и злостью воскликнула Лиля.

— Кого же? — вкрадчиво спросил он, и этот тон окончательно вывел ее из себя.

— Вы сами знаете кого!

— Глупая ты девочка...

— Никакая я не девочка! — Лиля почувствовала, что у нее вот-вот брызнут из глаз слезы. Она хотела бежать, но Либкин, загородив дорогу, галантно протянул ей свою руку.

Минуту назад Лиля готова была, кажется, разорвать на части этого улыбающегося здоровяка. Но, увидев сейчас протянутую руку и преданно улыбающиеся глаза, она неожиданно для самой себя почти без сил склонилась к нему и дала себя вывести на улицу.

Высоко над головой темнело унизанное звездами небо. Веяло прохладой. Последние зрители покидали театр.

— Где ты живешь? — спросил Либкин.

— Вы действительно хотите меня проводить?

— А как же?

— Ну, а та?

— Кто та?

— Та, с которой вы провели весь сегодняшний вечер.

— Ты имеешь в виду Мариам?

— Да, Мариам.

— Не будь ребенком. — Либкин высвободил руку девушки из своей и решительно взял ее под руку.

Некоторое время они шли молча.

— Я живу далеко, — первой нарушила молчание Лиля.

— Что значит далеко?

— Очень далеко.

— Это для меня не важно, — сказал Либкин.

— А что же для вас важно?

Он наклонился к ней и, щекоча бородой ее ухо, тихо сказал:

— Вот мы с тобой познакомимся ближе, и ты узнаешь, что для меня важно.

Лилю вдруг охватила какая-то странная, безотчетная тревога — не столько от слов, сказанных Либкиным, сколько от того, каким тоном они были произнесены.

— Ну так вот, — сказала Лиля чуть дрогнувшим го-

лосом, — я живу на «Пищепроме». Вы знаете, где это?

— Как ты сказала? Ох, такая славная девушка, а живет где-то у черта на куличках — на пище... прище... прищ... и не выговоришь...

— Напрасно смеетесь, — обиделась Лиля, — это очень хорошее место, немного, правда, далековато.

— Ну, пусть так, пусть так. Я же тебе сказал — расстояние для меня не преграда.

Либкин еще теснее прижал руку девушки, и она прижалась к нему, как бы желая убедиться в том, что он, Либкин, действительно провожает ее домой... Это было так неожиданно... Весь вечер оба антракта она думала о том, что всему конец. Потом, когда она стояла там, за кулисами... Думала, он не заметил... А он заметил и оставил ту, красивую, Мариам. И сейчас провожает ее, Лилю, домой...

Лиля не ведала еще, что многое в жизни, и хорошее и дурное, происходит совершенно неожиданно.

* * *

А на завтра весь Биробиджан напевал старинную и чем-то очень близкую мелодию:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И слова этой песни как-то сразу запали в душу, и распевали ее и токарь на обозостроительном заводе, у своего станка, и мотористка на швейной фабрике, и жестянщик на заводе металлических изделий, напевал ее и бухгалтер, перебрасывая костяшки на счетах в конторе, и напевали колхозники в Валдгейме, перебирая картофель.

Казалось бы, что общего было между «разбойником» Бойтре, который сотню лет тому назад расправлялся с богатеями, раздавая их имущество бедным, и этими, нынешними людьми, приехавшими в далекий край строить город, колхозы? Оказывается, общее было. И состояло оно в первую очередь в том, что эти, нынешние, приходились тому Бойтре кровной родней — внуками, правнуками. И не только это. Разве и он тогда, и они теперь не стремились к одному и тому же: сделать так, чтоб меньше зла было на свете, чтобы люди могли свободно дышать, трудиться, любить, — ко всему тому, что теперь-то по-настоящему начало воплощаться в жизнь.

Вот и напевали биробиджанцы с таким чувством и задумчивостью эту славную песню:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И теперь еще, столько лет спустя, случается — где-то на свадьбе или другом семейном празднике в уютной квартире, обставленной современной мебелью и расположенной в одном из больших, многоэтажных каменных домов, какие в те годы и не снились еще биробиджанцам, кто-то вдруг, обращаясь к пожилой женщине, скажет:

— Спойте-ка нам, пожалуйста, песню Бойтре...

Женщина отнекивается.

— Нет, нет, — говорят ей, — вы ее помните, вы так хорошо ее пели в прошлом году, на именинах вашего мужа...

И женщина, довольно еще пригожая, — не скажешь, глядя на нее, что у нее уже внуки, — заливается краской, будто школьница. Когда в Биробиджане ставили «Бойтре», говорит, она еще ходила в четвертый класс, поэтому слов как следует не помнит, да и голос у нее уже не тот, что прежде...

Но вот за столом становится тихо, молодые выключают магнитофон с куплетами Высоцкого, и всех захватывает старая песня:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И так — по сегодняшний день.

Глава четвертая

На перекрестке Октябрьской улицы и улицы Ленина Шолом Либкин стоял в окружении шумной компании студентов из двух местных техникумов. Были тут и два педагога, недавно окончившие институты и посланные сюда на работу: совсем еще молоденькая, тоненькая девушка с розовыми щеками и большими, с прозеленью глазами — Октябрина Григорьевна — и математик Исай Давидович, долговязый молодой человек с выпирающим кадыком.

Был тут и Шойлек Ушацкий. Он глядел Либкину пря-

мо в рот, опасаясь пропустить хотя бы одно его слово. В глазах Шойлека Ушацкого Либкин, вращавшийся в литературных сферах и знавший многих писателей, выглядел примерно так же, как некогда святой ребе Коцка в глазах своих фанатичных приверженцев — хасидов. Да и все другие смотрели на Либкина снизу вверх: ничего больше не оставалось — даже долговязый математик был на голову ниже его. Либкин, Октябрина Григорьевна и Исай Давидович долго гуляли по парку и, возвращаясь оттуда, постепенно обрастали студентами. Здания обоих техникумов и их общежития были расположены рядом с парком.

В этот час люди с чемоданами и узлами торопились на вокзал, другие — с вокзала; кто шел с моста, а кто спешил к мосту, ведущему к ближней сопке. Туда и обратно проносились грузовики, проезжали возы, груженные кирпичом, досками, гравием, керосиновыми бочками. Машины, сворачивая у перекрестка, подавали зычные сигналы, и возницы то и дело понукали лошадей. По ту сторону вокзала раздавались свистки маневренного локомотива. Громыхали длинные товарные эшелоны, оставляя за собой густые черные клубы дыма и запах сжигаемого угля.

Группа молодежи, стоявшая с Шоломом Либкиным на перекрестке двух оживленных улиц с вытянувшимися деревянными тротуарами вдоль одноэтажных и двухэтажных домов, выглядела со стороны довольно праздной. Но наиболее праздным выглядел среди них сам Либкин, и именно это, очевидно, и влекло к нему молодых людей. Это естественно, когда слишком затягиваются будни. Либкин же был похож на принаряженного гостя, который поторопился на новоселье и застал еще хлопочущих хозяев за побелкой стен.

Постепенно угасал длинный день уходящего лета.

Исай Давидович посмотрел на часы.

— Скоро уже начнется, — сказал он.

— Вы тоже пойдете с нами? — спросила Октябрина Григорьевна у Либкина.

— Посмотрю, — неопределенно ответил тот.

Речь шла об очередном занятии литературной студии. До начала еще оставалось немного времени, вот и остановились пока здесь, на перекрестке.

Студентов, подобно Шойлеку Ушацкому, пытавшихся попробовать свои силы в литературе, было не много, но

все собирались присутствовать на занятиях студии, которая вызывала особый интерес с тех пор, как занятия в ней стал проводить Давид Бергельсон. Известный писатель в то время жил в Биробиджане. Несколько лет назад он уже побывал здесь, и тогда им была написана книга «Биробиджанцы». Теперь же он приехал, как утверждали, — и он сам этого не отрицал, — для того, чтобы навсегда поселиться в Биробиджане. Знали, что имеется решение о строительстве отдельного дома для него, и этот дом уже начали строить напротив парка и Биры. Пока что Бергельсон занимал одну из комнат в небольшой гостинице, расположенной на втором этаже нового, недавно построенного здания вокзала.

— Интересно, кого старик сегодня возьмет в работу? — размышлял вслух Исай Давидович. Молодой математик проявлял немалый интерес к литературе. Злые языки поговаривали, что он пописывает тайком.

— Мишень всегда найдется, — заметила Октябрина Григорьевна.

Шойлек Ушацкий машинально поднес руку к нагрудному карману — там у него лежала тоненькая, сложенная вдвое тетрадка. Шойлек не знал еще, хватит ли у него храбрости прочитать в студии то, что в этой тетрадке написано...

— Если старик примется за кого — держись! — продолжал математик.

«Старик» — так между собой частенько уважительно и не без молодой бравады называли писателя.

Главный интерес для занимавшихся в студии состоял не в том, чтобы послушать начинающих (чаще всего они были зелены и беспомощны), а в том, что и как Бергельсон об их вещах скажет. А говорил он много любопытного, приводил примеры и из своей собственной творческой биографии, и это было интересно.

— И вы пойдете с нами, товарищ Либкин? — нерешительно спросил Шойлек.

Либкин ничего не ответил, и Шойлек повторил свой вопрос. Тогда Либкин посмотрел на него сверху вниз и, не отвечая прямо, со вздохом заметил:

— Странное дело — хедеров и ешиботов уже давно в стране нет, но вы все, гляжу я, вроде ешиботников, все еще нуждаетесь в поводе — рабе.

— Меня вы тоже причисляете к ешиботникам? — немного кокетливо спросила Октябрина Григорьевна.

— А что, разве не бывает ешиботников в юбках? Сколько хотите!

Учительница растерялась, хотела что-то ответить, но он перебил ее:

— А знате ли вы, что Бергельсон уже не годится в ребе?.. Разве вы не видите, старик-то выдохся?

Подобное простить нельзя и гостю.

— Что вы говорите, Либкин? — спросил Исай Давидович. — Вы читали «Биробиджанцы»?

Октябрина Григорьевна, обиженная на этот раз уже не за себя, а за писателя, добавила:

— А «У Днепра»?

— Читал, читал, — спокойно ответил Либкин. — Потому и говорю — выдохся. Все то, что он пишет сейчас, намного слабее его «Когда все кончилось».

— А где сказано, что все должно быть похоже на этот роман? — волнуясь, спросила Октябрина Григорьевна. — Как хотите, но мне Миреле не по душе. Просто не понимаю ее. А «Биробиджанцы» мне нравятся, — это о нас, о нашем нынешнем дне.

— Ну, видите ли, — с пренебрежением отозвался Либкин, — если говорить о литературе с подобной точки зрения...

Октябрина Григорьевна вспыхнула и хотела вступить в спор, но вмешался Исай Давидович.

— Идемте! — сказал он. — Время не ждет. Старик не любит, когда опаздывают.

Перейдя на другую сторону улицы, они, минуя телеграф, все вместе зашагали вниз по улице. Либкин постоял немного один в нерешительности и тоже, как бы нехотя, двинулся в том же направлении.

Редакция, где проходили занятия студии, помещалась в двухэтажном глинобитном здании в начале Октябрьской улицы. С наружной стороны здание было побелено, но частые дожди уже давно смыли последние остатки извести, и оно имело блеклый, непривлекательный вид. Внутри дом изобиловал крохотными комнатками. Верхний этаж занимал горсовет со всеми его многочисленными отделами, нижний — редакции обеих газет: «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда».

В одной из комнаток «Биробиджанер штерн» и проходили занятия студии.

В комнате, где уже собралось порядком людей, сразу стало тесно, когда там появились студенты и учителя

с Либкиным. Вошедшие пристроились кто где — кто нашел свободный стул, некоторые расселись на столах, на подоконнике. Небольшая без абажура электрическая лампочка, свисавшая с невысокого потолка, освещала комнатку тусклым светом.

За столом, в левом углу, сидел Бергельсон. Рядом с ним сидели несколько писателей, все моложе его. Прищуренные доброжелательные глаза Бергельсона приветливо останавливались на каждом, кто входил в комнату.

При появлении студентов, их педагогов и Либкина Бергельсон повернулся к Эммануилу, сидевшему рядом, и спросил:

— Кто этот, высокий?

— Я вам уже рассказывал о нем, — сказал Эмма, — это Шолом Либкин.

Эммануил был самым молодым из писателей, окружавших сейчас Бергельсона. Однако было заметно, что именно к нему чаще всего обращался маститый писатель, и притом обращался как к равному. Что же касается самого Эммануила, то это его, по-видимому, ни капельки не смущало — к общению с писателями ему было не привыкать.

Эмма подозвал Либкина к столу и представил Бергельсону. Оба некоторое время молчаливо и с любопытством смотрели друг на друга — Бергельсон на Либкина снизу вверх, Либкин на Бергельсона сверху вниз. Затем они перекинулись несколькими малозначащими фразами, и Либкин отправился на свое место.

Бергельсон окинул взглядом собравшихся:

— Ну что же, начнем?

Среди собравшихся были такие, что видели писателя впервые. Но и те, кто знал его, не отрывали от него глаз. Бергельсон был невысокого роста, худощав, но, несмотря на это, выглядел внушительно, солидно, особенно когда сидел.

На коричневом от загара продолговатом лице от крыльев носа к большому рту с тяжелой нижней губой пролегли две глубокие складки. Когда он смотрел вниз, видны были большие набрякшие веки и все лицо его принимало какой-то недовольный, немного даже брезгливый вид. Но вот он поднимает темные, орехового цвета, большие глаза, лицо его озаряется, и вы видите перед собой красивого и мудрого человека.

— Думаю, можно начинать, — сказал Бергельсон. — Кто будет сегодня читать?

В комнате стало тихо.

— Кто же? — повторил Бергельсон.

— Я, — раздалось в тишине.

Шойлек Ушацкий, наверно сам насмерть перепуганный этим произвольно вырвавшимся «я», стоял ни жив ни мертв, понимая, что пути к отступлению нет, — все уже повернулись в его сторону и смотрели, как он извлекает дрожащей рукой из нагрудного кармана свою тетрадь.

— Что вы хотите нам почитать? — спросил Бергельсон.

— Рассказ, — едва слышно промолвил Шойлек. — Собственно, небольшой рассказик.

— Почему рассказик?

— Я имею в виду — небольшую вещицу.

— Ну что ж, прекрасно! Как вас зовут?

— Шойлек. Шойлек Ушацкий.

— Вы учитесь? Или работаете?

— Я студент. Учусь в педагогическом техникуме. На втором курсе.

— Отлично. О чем же ваш рассказ? Как он называется?

На лице писателя отразилось искреннее любопытство к этому худенькому пареньку в роговых очках с надтреснутым стеклышком.

— «Натуралист», — произнес Шойлек.

— Что — натуралист? — не понял Бергельсон.

— Так называется рассказ.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ничего. Это рассказ о натуралисте.

Бергельсон слегка нахмурился, посидел немного, опустив вниз тяжелые веки, потом вскинул глаза на Шойлека и сказал:

— Видите ли, молодой человек, на свете есть разные натуралисты. Вот, к примеру, был такой французский писатель Эмиль Золя, который создал целую литературную школу, получившую название натурализм. Последователей этой школы называли натуралистами. Вы это имели в виду?

— Нет, нет, — поспешно ответил Шойлек, — не это.

— Что же тогда?

Шойлек смущенно молчал.

— Вы что-нибудь читали Золя? — не дождавшись ответа, спросил Бергельсон.

— Нет.

— Но вы слышали о нем?

— Кое-что...

— Жаль.

— Натуралистический метод Золя, — пояснил Бергельсон, — оказался несостоятельным. Но читать его нужно, Золя — хороший писатель. А знаете ли вы, чем именно натурализм плох? — Бергельсон перевел взгляд с Шойлека на аудиторию. — Когда в художественном произведении есть пятьдесят процентов жизненной правды, это хорошо, потому что остальные пятьдесят процентов — это правда синтеза и мы имеем в итоге подлинно художественное произведение. Но когда все сто процентов — одна только жизненная правда, — в итоге получается ложь. Это и есть натурализм.

По комнате пронесся приглушенный шумок.

Математик что-то поспешно записал к себе в блокнот.

— Записывайте, записывайте, — шепнула ему на ухо еще не расставшаяся с привычками вчерашней студентки Октябрина Григорьевна. — Я потом перепишу у вас. Какая сжатая формулировка...

— Так что же за натуралист у вас? — повторил Бергельсон.

Шойлек, смутившись еще больше, ответил:

— Я имею в виду юного натуралиста, садовника...

— А, так и сказали бы! Ну, читайте, читайте...

Шойлек Ушацкий читал минут пятнадцать. От волнения и страха он часто заикался, с лица его лил пот.

Шойлек читал о мальчике, который любит растения, и о том, как он, этот мальчик, и еще несколько его товарищей zaloжили в молодом таежном городе первый фруктовый сад. Заканчивался рассказ описанием того, как они ждут, чтобы деревья выросли и дали плоды.

Окончив чтение, Шойлек бросил несмелый взгляд по сторонам, желая увидеть, какое впечатление произвел рассказ, но все кругом сидели с холодными, равнодушными лицами. На Бергельсона же он боялся взглянуть. Шойлеку было невдомек, что в глазах присутствующих он уподобился той птичке, которая, ненароком залетев к крокодилу в пасть, еще не ведает, что тот вот-вот с лязгом сомкнет зубы...

По углам о чем-то шушукались.

— Ну, кто хочет выступить? — спросил Бергельсон. Стало совсем тихо. Потом немного раскачались, взяли слово студенты — один, другой, третий.

— Рассказ мне понравился, — сказал первый студент. — Это же очень важно, чтобы у нас здесь, на Дальнем Востоке, где никогда не росли плодовые деревья, начали разводить сады, как на Украине.

— Писать так, как пишет Шойлек Ушацкий, я тоже умею, — начал второй.

— Почему же вы не пишете? — спросил Бергельсон.

— Потому, что писать надо уметь. Но я-то знаю, что не умею, а Шойлек Ушацкий этого, видимо, еще не знает. Третий студент попытался смягчить этот отзыв.

— Рассказ неплохой, — сказал он, — но у автора малость хромает язык. В некоторых местах он употребляет не те слова...

Больше охотников выступить не нашлось.

— Кто еще хочет что-то сказать? — спросил Бергельсон. — Никто? Тогда у меня к вам вопрос, — обратился он к Шойлеку. — Скажите мне, пожалуйста, что вас побудило написать этот... ну вот то, что вы сегодня нам прочитали?

— Да все это со мною же самым и произошло, — вскочив с места, ответил Шойлек.

— То есть, вы хотите сказать, что вместе со своими друзьями заложили сад?

— Ну да.

Помолчав немного, Бергельсон мягко заметил:

— Вы понимаете... Садитесь, садитесь, мы ведь не на уроке в техникуме. Мы здесь просто беседуем с вами на равных о литературе.

Шойлек сел. Бергельсон не спеша принялся закури-вать папиросу.

— Понимаете ли, — произнес он, — ни один человек не может стать писателем только потому, что с ним что-то произошло. В таком случае, сколько людей на свете, столько было бы и писателей, с каждым из нас ведь что-нибудь в жизни да происходит. Вот взять, к примеру, Анну Каренину. Вы читали «Анну Каренину»?

— Нет.

— Вы и эту книгу не читали? Жаль. Ну вот, когда прочтете «Анну Каренину», вы увидите — в жизни этой

женщины многое произошло. Но написал о ней Лев Толстой.

По комнате пронесся сдержанный смешок.

— А теперь о том, что вы нам здесь читали, — продолжал Бергельсон. — То, что вы с вашими друзьями разбили фруктовый сад, это очень хорошо. Вы вполне заслужили, чтобы о вас напечатали заметку в «Биробиджанер штерн» или в «Биробиджанской звезде». Но то, что вы сами написали... Вы понимаете, в художественном произведении, я вам уже говорил, должна быть не только сама по себе одна жизненная правда — этого еще мало. Должна быть показана правда жизни, с глубоким обобщением тех жизненных фактов, которые вы описываете. Попытаюсь показать вам это на одном примере.

Бергельсон поднес спичку к погасшей папиросе и зажег ее. Лукаво улыбаясь одними глазами, он продолжал:

— Мне когда-то довелось жить в Германии. И там заведено: куда ни повернешься в доме — часы. В каждом углу тикают разные — большие и маленькие, настольные, настенные, — в общем, какие хотите часы.

По комнате прокатился смех.

— Одни часы показывают пять минут третьего, другие — три часа пять минут, третьи — еще что-то. Но вот на улице большие башенные часы пробили три раза, и все знают — теперь действительно три часа. Но вот представьте, что в то же время где-то в заброшенном углу дома какие-то плюгавенькие ходики торопливо и гнусаво отсчитали двенадцать ударов... Вы скажете, конечно, что это неправда. Но как быть с первыми тремя ударами ходиков — они-то не обман?

Помолчав немного, Бергельсон продолжал:

— Но в том-то и дело, что когда часы в три часа ночи бьют двенадцать раз, первые три удара — тоже обман. Вот что можно сказать о прочитанном здесь сегодня. Вы меня поняли? — обратился к Шойлеку Бергельсон.

Шойлек сидел, опустив голову. Он понял одно — то, что он написал, никуда не годится, и если бы в комнатке не было так тесно или сиди он поближе к двери, он давно отсюда сбежал бы.

Бергельсон понял состояние незадачливого автора и ласково сказал:

— Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь! Ничего страшного не произошло. Чем там у вас это кончается? Вы ждете, чтобы деревья выросли и принесли плоды? Вот и мы немного подождем. Начало всегда бывает трудным. Я тоже когда-то трудно начинал. Хуже, однако, молодой человек, то, что вы так мало читали. Вот, скажем, «Мадам Бовари» Флобера вы читали?

— Нет.

— А Кнута Гамсуна?

— Тоже нет.

— Что же вы, в таком случае, читали? — спросил уже с сердитой ноткой в голосе Бергельсон.

— Вас! — выпалил Шойлек.

— Меня? А что именно?

— «Биробиджанцы».

— «Биробиджанцы»? А «Вокруг вокзала» вы читали?

— «Вокруг вокзала» — нет.

— С «Вокруг вокзала» я когда-то начинал. Читайте, читайте, юноша, на свете есть много хороших писателей. И вот когда вы достаточно начитаетесь, можно будет подумать и о том, чтобы начать кое-что писать... Кто еще хочет выступить? — спросил Бергельсон.

Вопрос, по существу, был риторический — Бергельсон знал, что после него обычно никто больше слова не берет.

— Разрешите мне! — раздался голос.

А, это тот, высокий, с которым его, Бергельсона, познакомил Эммануил. Он что-то хочет сказать.

— Пожалуйста!

— Вот вы рассказали эту притчу с часами, — обращаясь к Бергельсону, начал Либкин. — Это интересно. Позвольте, однако, не совсем согласиться с некоторыми вашими выводами. — Голос Либкина перешел на самые низкие октавы. — Вы полагаете, что настоящий художник тот, кто, как и большие башенные часы в вашем примере, отсчитывает три раза, когда и в самом деле три часа. Но не думаете ли вы, что некоторым образом противоречите этим сами себе?

Октябрина Григорьевна, Исай Давидович, Шойлек и все остальные с изумлением посмотрели на Либкина (что за бесцеремонность!), затем на Бергельсона (что-то ответит тот?).

А он с легким прищуром, внимательно и молча смотрел на говорившего Либкина.

— Вы здесь высмеяли, — рокотал тот своим низким басом, — натурализм Золя. Правильно. Но что же, однако, представляют из себя ваши башенные часы, которые ровно в три бьют три раза? Не те ли это самые сто процентов жизненной правды, о которых вы сами говорите? Это тот же натурализм, или, как вы сами говорите, тот же самый обман! Разве не так?

Бергельсон еще больше прищурил глаза, молча потянулся к папиросе, но так и не закурил.

— Мы смотрим на эти вещи несколько иначе... — сказал Либкин.

— Кто — мы? — спросил Бергельсон.

— Мы — молодые, мы, идущие в литературу для того, чтобы обновить и освежить ее. Я имею в виду литературу не только здесь, у нас, но литературу в широком, в мировом масштабе. Мы считаем, что ваши башенные часы, извините, принадлежат уже вчерашнему дню. А вот как раз в тех маленьких ходиках, что бьют двенадцать раз, когда на самом деле три, — в них-то и заложена правда, они-то подлинное искусство и есть!

В комнате стало совсем тихо. После короткой паузы, указав рукой по сторонам, Либкин продолжал:

— Возможно, некоторые из тех, что сидят здесь сегодня, когда-нибудь станут писателями. Возможно. Очень бы не хотелось, чтоб они шли теми путями, которые оказались несостоятельными. Поэтому я и позволил себе сказать здесь эти несколько слов...

Он сел.

Октябрина Григорьевна переглянулась с математиком. Исай Давидович шепнул ей на ухо:

— Интересно, что старик ответит ему?

— Кто-нибудь еще хочет высказаться? — спросил Бергельсон.

Желающих выступить не было.

Тогда Бергельсон совершенно спокойно заговорил:

— Здесь только что высказался товарищ... товарищ Либкин, так, кажется, зовут вас? Я не ошибся?.. Товарищ Либкин высказал некоторые мысли относительно литературы, так сказать, в мировом масштабе. Можно было бы с вами и поспорить, товарищ Либкин, но... — Бергельсон указал на часы у себя на руке, — но уже половина одиннадцатого, по-настоящему половина одиннадцатого. Ну ладно, мы-то с вами бездельники, мы выспимся. Но молодым людям, которые здесь сидят, завтра

рано утром надо идти на работу или на лекции. Я думаю, мы нашу дискуссию поэтому отложим на другой раз. Просто потому, что уже поздно. А насчет того, какие часы лучше — те ли, что в жизни и в литературе показывают правильное время, или те, что день превращают в ночь и наоборот, — в этом, я думаю, молодые люди сами разберутся. Ничего, у них крепкие головы на плечах.

Покинув тесную редакционную комнатку, многие из присутствовавших на занятии студии не спешили расходиться, обменивались впечатлениями. Галя и Сима тоже были на этом занятии студии — они пришли сюда вместе с Гиршке и Эмкой.

— Лиля, — сообщила Сима Либкину, — тоже хотела прийти, но ей как раз выпало ночное дежурство в больнице.

Мы договорились между собой так: Галя и Сима пока что погуляют немного с Либкиным и остальными, а Эмка, Гиршке и я проводим Бергельсона в гостиницу и потом вернемся к ним.

Либкин с Галей и Симой, Октябрина Григорьевна, Исай Давидович, Шойлек Ушацкий и остальные студенты направились по Октябрьской улице вверх, к парку. А мы с Бергельсоном пошли вниз, к вокзалу.

У вокзальной лестницы мы уже хотели попрощаться, но Бергельсон вдруг сказал:

— Знаете что, ребята, поднимемся ко мне наверх, посидим немного. Что-то сегодня совсем спать не хочется.

Эмка и Гиршке переглянулись — как быть с Галей и Симой? Но чересчур велика была честь этого приглашения, и мы, не раздумывая, поднялись наверх. Номер гостиницы, который занимал Бергельсон, был невелик, но после тесной, полутемной комнатки редакции он выглядел очень уютным, светлым: комнату освещала большая электрическая лампа под красивым молочно-белым абажуром, и еще одна лампа стояла на письменном столе, от нее расстилался вокруг ровный, спокойно-зеленоватый свет.

Нам уже приходилось тут бывать и раньше, и всякий раз казалось, что любой уголок здесь наполнен чем-то по-особому праздничным и важным.

На письменном столе лежали страницы, отпечатанные на машинке, с кое-где зачеркнутым словом или аккуратно вписанной от руки строкой. Я с тайным трепетом смотрел на эти страницы и думал о том, что человек,

написавший их, был уже известен в литературе, когда ни Гиршке, ни Эмки, ни меня еще на свете не было... Как всегда, когда я приходил сюда, меня и теперь охватила легкая оторопь, — большой писатель нас, желторотых птенцов, приблизил к себе и этим самым как бы выдал каждому из нас солидный вексель, а сможем ли мы когда-нибудь его оплатить?..

— Ну и что же? — начал Бергельсон, когда мы расселись, кто где, в его комнате. Он достал из шкафа длинную темную бутылку. — Этот самый Либкин вас сегодня слегка огорошил, а? Признайтесь!

Бергельсон поставил перед нами маленькие рюмочки и налил в каждую немного коньяку.

— Скажите, вас не удивило, что я не разделал как подобает этого молодца за его теории?

— По правде говоря, удивило, — ответил я.

— Ну, выпьем, — сказал Бергельсон, — лехаим!¹

Мы выпили, закусив маленькими ломтиками хлеба с голландским сыром.

— На такого, как этот Либкин, — заметил Бергельсон, сметая со стола крошки возле себя, — поверьте, жаль тратит порох. Я понимаю, для вас подобный субъект невидаль, но я, живя за границей, немало нагляделся на таких вот холеных болтунов. Ни одно кафе там без них не обходится.

— С чего же они живут?

— С чего хотите! У кого отец толстосум, кому удастся найти чудака мецената, который кормит, поит и лелеет до поры до времени. А то подыщут богатую вдову, объяснятся ей в любви и живут, сколько можно, на ее хлебах, иногда — всю жизнь...

— Ну, а работать? — спросил Гиршке. — Как можно жить, ничего не делая?

— Наивный вы человек, — ответил Бергельсон. — Такие, как Либкин, разве когда-нибудь работают? Ничего, я на них достаточно нагляделся. Не пойму только: что привело такого субъекта в нашу страну? Тем более непонятно, как он мог очутиться в Биробиджане?

Эмка в течение всего вечера — и в студии, и здесь — был, вопреки своему обыкновению, задумчив и молчалив. Но, услышав вопрос Бергельсона, он как бы стряхнул с себя задумчивость и сказал:

¹ За здравие!

— Это я его сюда привез.

— Ты?! — переспросил Бергельсон удивленно.

— Да.

— Где же ты его отыскал?

— В Москве, — ответил Эмка и с некоторым вызовом добавил: — Мне еще никогда не приходилось бывать за границей, и я не знаю, кто там сидит у них в кафе. С Либкиным я познакомился в Москве, в ресторане. Мы случайно оказались с ним за одним столиком, разговорились, и он мне понравился.

— Чем же он тебе понравился?

— Он талантлив. Слышали бы вы, вот они слышали, — Эмка указал на меня и Гиршке, — он весь полон идеями, замыслами, сюжетами. Это настоящий уникум...

— Сюжетами, говоришь? — заинтересовался Бергельсон. — Видишь ли, это уже кое-что да значит. Я на этом деле собаку съел и знаю — хороший сюжет чего-нибудь да стоит. Может, ты и прав, — согласился он. — Нужно с этим Либкиным поближе познакомиться. Талантливых людей я люблю.

И, глядя на нас с лукавинкой в глазах, неожиданно рассмеялся.

— Если бы не это, разве я поил бы вас коньяком, сосунки вы этакие? — шутливо спросил он и налил в наши рюмки еще немного коньяку.

— А что касается того, — сказал Эмка о Либкине, — что в голове у него еще царит кутерьма, как он доказал и сегодняшней речью, — это не страшно, со временем мы направим его на истинный путь. Взять такого Либкина и сделать из него настоящего, нашего человека — разве такая игра не стоит свеч? Для того не жаль и поработать. Со временем из него получится очень полезный для нас человек, вот увидите!

— Может быть, — согласился Бергельсон, — пусть будет так! А сейчас, — сказал он, — хотите, я вам что-нибудь почитаю?

Нам стало ясно, что именно для этого Бергельсон и пригласил нас в этот поздний час к себе. Читал он спокойно и неторопливо, как бы смакуя каждое слово. Закончив, отложил странички в сторону и устремил на нас полные ожидания глаза.

«Неужели этот признанный мастер ждет нашей оценки?» — подумал я. А он именно этого и ждал.

По очереди мы высказали каждый свое мнение, и мне-

ние это было восторженным, мы только что прослушали несколько страничек истинно прекрасной прозы. Когда мы высказались, Бергельсон с грустью заметил:

— А вот сегодня я весь день промучился над одной страницей и так и не смог ее одолеть...

Он поднялся.

— А теперь, ребята, вам пора идти! Я могу поспать утром и подольше, а вам с утра на работу!

Уже стоя на пороге, вслед нам добавил:

— А я еще тут покопаюсь в главе, которую сейчас пишу.

Бергельсон писал тогда вторую часть своей книги «У Днепра».

Над спящим городом, окруженным темными, дремлющими сопками, спокойно плыла полная луна. На улицах было пустынно.

— А теперь поищем наших девчат! — воскликнул Эмка.

— Где ты их будешь искать так поздно? — заколебался Гиршке.

— Девушек искать никогда не поздно, запомни это! Шолом отличный парень. Я многое готов для него сделать, многое готов ему отдать — только не девушек, дудки! Скажи, Гиршке, отдал бы ты ему свою Симу?

— Если бы она того захотела, — пожав плечами, неопределенно буркнул тот.

— О нет, Гиршке, это мне не нравится. Что за примиренчество? Если будешь ждать, что она сама скажет, может случиться, что этот самый Шолом уведет ее у тебя из-под носа — и глазом не моргнет. А ты не зевай. Выставь ему кукиш с маслом! Понял?

Пройдя изрядно, на выходе из города, у МТС, натолкнулись мы на Либкина, гулявшего в обществе Гали и Симы. Он вел обеих девушек под руки, они смеялись и были так увлечены разговором с ним, что не заметили нашего приближения.

А заметив, удивились:

— Да как вы нас нашли?

— Кто ищет, тот всегда найдет! — ответил Эмка и тут же взял Галю под руку.

Гиршке ничего больше не оставалось, как стать рядом с Симой. Так мы все вместе зашагали дальше.

— Вижу, Шолом, ты без нас тут не скучал? — заметил Эмка.

— Полагаю, — сказал Либкин, — что в любом случае куда лучше провести время с двумя молодыми девушками, нежели с одним старым писателем. А как полагаете вы?

Глава пятая

Гиршке перестал бывать у Шпиглеров.

— Что случилось? — спросила как-то Мариам у Вениамина Исааковича.

— Как раз на днях встретил его на улице, — ответил тот.

— И что же?

— Занят, говорит, был в командировке, теперь собирается вновь.

Истинная же причина состояла в другом: Шолом Либкин стал частым гостем у Шпиглеров. Гиршке узнал об этом от Лили, которая очень заинтересовалась в последнее время Шпиглерами, и Гиршке рассказывал ей о них все, что знал.

Девушка была вне себя от досады. Ну да, сама же и виновата, корила она себя во всем. Он обиделся на нее в тот вечер, когда провожал ее из театра домой.

Вновь и вновь перебирала она в памяти все, что произошло в тот вечер, вспоминала каждое слово, каждый жест...

— Вот здесь я и живу, — сказала Лиля, когда они подошли к ее дому. — Правда, далековато?

— А я и не заметил, куда девалась дорога, — ответил Либкин и взял ее руку в свою.

— Спасибо, что проводили. — Лиля высвободила руку. — Спокойной ночи!

Неожиданно он обнял ее за плечи.

— Я сейчас зайду к тебе, а?

— Как, уже сейчас?

— Ну и что же?

Лиля тихо рассмеялась.

— Чему ты смеешься?

— Так...

Не рассказывать же ему, что она вдруг на мгновение представила себе, как вытянутся лица у ее родных при появлении Либкина ночью у них в доме...

— Уже поздно, — сказала она. — Как-нибудь в другой раз. Хорошо?

— А сегодня что ж?

— Сегодня пора спать.

— И что же — идти мне одному в такую даль?

— Вы же говорили, что никакая даль вас не страшит, — рассмеялась Лиля.

— Ну, если так... — Он вдруг сильно привлек девушку к себе и хотел ее поцеловать, но она ловко вывернулась из его рук.

— Либкин, мы же договорились.

Он пытался поцеловать ее еще по дороге сюда. По правде говоря, и она в душе этого желала, но все же какая-то сила заставила ее вырваться, отбежать на несколько шагов в сторону и строго сказать:

— Если вы не будете вести себя по-человечески, я дальше с вами не пойду.

— Хорошо, хорошо, — тут же сдался он. — Значит, если я хочу поцеловать тебя, — спросил он затем, — я уже и не человек?

— Почему же? — ответила она, глядя на него снизу вверх. — Конечно, человек, но слишком уж нетерпеливый.

— А тебе по душе терпеливые?

— Да.

Остаток дороги они прошли спокойно. И вот опять...

— Либкин, мы же с вами договорились! — напомнила Лиля.

— Это ты договорилась.

— А вы?

— А я не согласен.

— Ну и жалуйтесь! — засмеялась Лиля и скрылась по ту сторону калитки.

— А кому жаловаться?

— Кому хотите. Спокойной ночи, Либкин! — крикнула она и побежала к дому.

У крыльца она затаилась, наблюдая за Либкиным. Он стоял все в той же позе — лицом к калитке, с недоуменным видом человека, вовсе не надеявшегося на такой исход. Потом он повернулся, еще помешкал и медленно зашагал прочь.

У Лили сильно забилося сердце. Ей еще никогда не приходилось переживать ничего подобного; глядя теперь вслед удаляющемуся Либкину, ей вдруг страшно захотелось распахнуть калитку, побежать, догнать и припасть к нему со словами: «Целуй меня! Ну, целуй же,

целуй!» Но тут же, испугавшись этого своего чувства, она поспешно вскочила на крыльцо и что есть силы толкнула дверь в сени.

С того вечера Лиля больше не видела Либкина. Потом она узнала, что он стал часто бывать у Шпиглеров. Ну да, ясно, он обиделся на нее. Но за что? Может, она неправильно вела себя с ним? Но как она могла вести себя иначе?

А Шолом Либкин действительно стал часто заходить к Шпиглерам. Приходил к ним иногда в обед, иногда к ужину. Мог появиться, когда Вениамин Исаакович был дома, а также и в его отсутствие.

Сидели ли они втроем, или Либкин был только с Мариам, у них всегда находилось, о чем поговорить, и время за беседой текло незаметно.

Мариам очень сожалела о том, что перестал заходить Гиршке. Будь и он тут, с ними, думала она, было бы еще интереснее. В то же время она сомневалась, получился ли бы вообще какой-нибудь разговор, окажись за одним столом Гиршке и Либкин, — уж слишком разные они люди.

Гиршке чувствовал себя у Шпиглеров просто и непринужденно, и Мариам знала — так он чувствует себя у них. Непринужденность же Либкина была совсем иного рода — он всюду как у себя дома.

Мариам была мастерицей готовить вкусные блюда. Гиршке они доставляли удовольствие, и он это ценил. Либкин же все уплетал за обе щеки и ни слова не говорил в благодарность, как будто иначе и быть не должно.

Гиршке с одинаковым уважением относился и к Вениамину Исааковичу и к ней, Мариам, и если в душе он, возможно, как она догадывалась, к ней питал нечто большее, то старался скрывать это чувство даже от самого себя. Либкин же, напротив, с явным пренебрежением относился к хозяину дома, где его так радушно принимали, и всячески проявлял свой восторг перед нею, Мариам.

Всего этого было достаточно, чтобы оба — и хозяин и хозяйка дома — не захотели бы спускать ему такого поведения. Но в Либкине было столько апломба и уверенности в правильности всего, что он говорит и делает, что ему прощали многое такое, чего не простили бы никому другому. Ну, и прекрасная наружность Либкина тут то-

же играла не последнюю роль. Мариам он определенно нравился.

А Вениамин Исаакович? Он относился к этому, как и ко всему, со своим обычным спокойствием. Он хорошо знал Мариам и никогда не унизил бы ни ее, ни себя мелочной ревностью.

В один из будничных дней, после обеда, Вениамин Исаакович, как всегда, ушел на работу, и Мариам с Либкиным остались вдвоем. Она поставила на стол таз с горячей водой и принялась мыть посуду, а Либкину, как в свое время Гиршке, протянула полотенце.

— Не сидите сложа руки. Поможете мне вытереть посуду?

Спросила она это тоном человека, не привыкшего слышать отказ.

Усмехнувшись в холеную бороду, Либкин ответил:

— Это вы хотите, чтобы я вам отработал обед?

— А хотя бы и так.

— Но если так, надо было предупредить меня об этом заранее.

— Почему?

— А может, я на такое условие и не согласился бы.

— До того не любите вы работать? — рассмеялась Мариам, погружая в горячую воду горку тарелок.

— Представьте — не люблю.

— И даже такая легкая работа, которую я предлагаю, вам в тягость?

— Дело не в том, легкая ли, трудная. Дело в принципе.

— Ого! — протянула Мариам. — Вы даже усматриваете здесь некий принцип? В чем же он заключается?

Вместо ответа Либкин спросил:

— «Войну и мир» Толстого вы, конечно, читали?

— Разумеется. И не раз.

— Так вот, помните ли вы тот эпизод, когда Пьер Безухов и Платон Каратаев томятся в сарае после того, как попали к французам в плен?

— Конечно. Это одно из лучших мест в романе.

— Так вот, помните, как Пьер Безухов все время сидел неподвижно, сложа руки? — Либкин сложил руки на груди, как бы желая показать, в какой именно позе сидел Пьер Безухов, — а Каратаев, помните, все время, не зная покоя, что-нибудь делал, мастерил — в общем, находил какую-то работу своим рукам. И он никак не мог

понять, Каратаев: как это Пьер может сидеть и целыми днями ничего не делать? Но Пьер думал...

Либкин замолчал, упершись холеной бородой на сложенные на груди руки.

Мариам немного подождала, не скажет ли он еще что-нибудь, и, не дождавшись, спросила:

— И что же вы хотите этим сказать?

— Я? Ничего. Но Толстой, я думаю, хотел сказать вот что: человечество разделено на две категории — на тех, кто думает, и на тех, кто работает.

— А вы, Либкин, к какой из этих категорий относите себя?

— Думаю, что имею право причислять себя к первой.

Мариам рассмеялась. В ответ на его вопросительный взгляд сказала:

— Когда вы сидите вот так, сложив руки на груди, вы действительно чем-то похожи на Пьера Безухова. Ну, а меня? — Мариам вынула несколько вымытых тарелок и осторожно поставила их на стол. — К какой категории вы причисляете меня? Конечно же, к Каратаевым?

— Вас? — переспросил он после паузы. — Вы, Мариам, не принадлежите ни к одной из этих категорий.

— Вот тебе раз! — с обиженным видом сказала Мариам. — Выходит, я и не человек вовсе?

— Почему же? Вы женщина...

— Да?

— И удивительная женщина, Мариам...

— Это вы уже меня награждаете комплиментом, Либкин?

— Нет, я говорю вполне серьезно. Вам, Мариам, не нужно ни думать, ни работать! Ваше назначение в другом...

— В чем же?

— В любви.

— Благодарю вас, что вы и для меня все же нашли какое-то назначение. Скажем, любовь... Но почему же вы думаете, однако, что она не совместима с трудом, физическим или духовным? Наоборот.

— Любовь! Она не совместима ни с чем на свете! — Либкин порывисто встал с места и шагнул к Мариам. — Милая, вы мне предлагаете протирать посуду, а я вам предлагаю любовь! Вы ощущаете разницу?

— Ну-ну, Либкин! — рассмеялась она, легонько от-

талкивая его от себя мокрой рукой. — Мало того, что не помогаете, так вы, я вижу, еще вздумали мне мешать. Это уж вовсе из рук вон! Садитесь, Либкин, и займитесь своим делом — думайте.

Все это было сказано очень мягко и в то же время достаточно категорично. Либкину ничего не оставалось, как повиноваться и сесть на свое место.

— Ладно, давайте буду вытирать тарелки, — через некоторое время откликнулся он.

— Ну, нет, такому философу, как вы, я, пожалуй, тарелки не доверю, — сказала Мариам. — Еще, чего доброго, перебьете. Вот вам ложки и вилки, вытирайте!

Либкин усердно принялся за дело, а Мариам, вытирая тарелки, время от времени, пряча улыбку, украдкой поглядывала в его сторону. Огромный и неуклюжий, он чем-то напоминал теперь дрессированного слона, который выполняет на арене свой номер и терпеливо ждет положенного ему лакомства.

Во взгляде Мариам мелькнула добродушная усмешка: «Лакомства не будет».

Отношения между мужчиной и женщиной неизбежно ведут к определенной черте, и очень важно для обоих, переступят они эту черту или нет... И нет, пожалуй, женщины, которая не стремилась хотя бы раз в жизни приблизиться к опасной черте и заглянуть в зияющую рядом пропасть. В таких случаях нередко начинает кружиться голова, одно неосторожное движение — и разверзается бездна... Есть, однако, женщины, которые могут подойти к этой грозной черте, заглянуть за нее и, не поскользнувшись, отступить назад. Такой женщиной была Мариам.

Как-то раз Либкин, по обыкновению, явился к Шпиглерам домой, когда до прихода Вениамина Исааковича на обед оставался еще целый час. Вид у него был угрюмый.

— Что-нибудь случилось? — спросила Мариам.

— Нет, ничего.

— Все же?

— Меня сегодня вызывали в редакцию.

— Зачем?

— Предлагают командировку в район.

— Так это же хорошо!

— Что тут хорошего?

— Увидите новых людей. Соберете интересный материал.

Он перебил ее:

— Но это же на целую неделю.

— Вот и прекрасно!

— Но вы представьте, Мариам, — целая неделя!

— Ну и что же?

— Неделя без вас...

Она с любопытством посмотрела на него.

— Либкин, не смещите меня. Поезжайте!

— Не могу.

— Может быть, у вас есть какая-нибудь действительно веская причина?

— Одна причина, Мариам, — вы, и я больше не могу...

Вдруг, большой и грузный, он рухнул перед ней на колени. От неожиданности Мариам отступила назад. Потом ей вдруг стало смешно. Огромный, неуклюжий, он стоял на коленях с протянутыми к ней руками.

— Молю тебя, Мариам!

«Ага, уже и «тебя», — про себя отметила она. — Ну вот, осталось кинуться к нему в объятия и...»

— Либкин, — строго сказала Мариам, — сию же минуту встаньте! Вы слышите?

— Я не поднимусь, пока...

— Пока что?

— Хоть один поцелуй!

Мариам немного смягчилась.

— Либкин, я вам друг. Сейчас должен прийти Вениамин Исаакович. Я не хочу, чтобы над вами потешался весь Биробиджан.

Он тяжело поднялся, спросил обиженным тоном:

— Почему бы вам не прогнать меня, Мариам?

— Зачем же вас прогонять? Мне с вами интересно. Вы многое знаете, умеете увлекательно рассказывать. Не часто встречаешься с такими людьми, как вы!

— Но сколько же так может продолжаться, Мариам?

— Сколько хотите.

— Но поймите, что вы мучаете меня.

— Я — вас?

— Вы не человек, вы чудовище, Мариам!

— Ну вот, я уже и чудовище...

Мгновенье — и Мариам оказалась в объятиях у Либкина. Его губы обжигали ее лицо, искали рот.

— Вы с ума сошли, Либкин! — вскрикнула Мариам,

напрягая все силы, чтобы высвободиться. — Сейчас же отпустите — слышите! — отпустите меня!..

Но он с силой прижимал ее к себе.

Послышались шаги.

— Вениамин Исаакович! — прошептала Мариам.

Либкин поспешно отпрянул от нее в противоположный угол и, разгоряченный, взъерошенный, остановился там, тяжело дыша.

Войдя в комнату, Вениамин Исаакович бросил быстрый взгляд на жену, затем на Либкина.

— Здравствуйте! — сказал он и, обращаясь к Либкину, спокойно спросил: — Сейчас мы с вами пообедаем?

Повернувшись к Мариам, добавил:

— Сегодня сразу после обеда у меня совещание. Стол еще не накрыт?

Мариам поправила волосы. Она уже почти совсем овладела собой.

— Знаешь, Нюмочка, — сказала она, — товарищ Либкин пришел предупредить, что он не сможет сегодня с нами обедать...

— Почему же?

— Его посылают в срочную командировку. Он пришел попрощаться.

Вениамин Исаакович взглянул в сторону Либкина:

— Может, все-таки пообедаете? А? Мы сегодня с этим быстро управимся, я ведь тоже спешу.

— Нет-нет, — ответила за Либкина Мариам, — он пришел сказать...

Либкину больше ничего не оставалось, как кое-как попрощаться и уйти.

Вениамин Исаакович, как всегда, аккуратно повесил пиджак на спинку стула, вымыл руки.

Сидя за столом, спросил:

— Надолго он уезжает?

— Надолго, — ответила Мариам.

Глава шестая

Хмурый, ненастный день без устали нагонял на город низкие тучи. Похожие на грязноватые, наспех выстиранные, сырые простыни, тучи, словно по воображаемой веревке, передвигались все дальше и дальше, и на их месте, будто подбрасываемые чьей-то неустанной рукой, выра-

стала очередная вереница этих грязноватых и сырых простыней. За тучами спряталось солнце, как бы в пику небольшому городу, протянувшемуся на узкой полосе земли между плавно убегающей вдаль железной дорогой с одной стороны и бурной, стремительно несущей воды рекой — с другой.

С кем же солнце захотело так зло пошутить — с городом, с людьми, живущими в нем? Но людей это, казалось, ничуть не трогало, они продолжали спокойно заниматься своей работой. Правда, с солнышком все же повеселее, но и без него дела шли не худо. Тем более, что люди знали: долго оно играть в прятки и шутить с ними не будет, в конце концов это ему надоест, оно выйдет из-за туч, и тогда все небо вокруг покроется яркой, безбрежной синевой.

Во всяком случае, в этом были уверены двое молодых людей, шагавших мне навстречу по улице, особенно один из них — в рубашке с распахнутым воротом и в высоких сапогах. Через руку у него был переброшен пиджак. Он шагал немного впереди своего спутника и, разговаривая с ним, каждый раз поворачивал назад свое худощавое лицо, придерживая на носу очки.

Они были еще довольно далеко и, увлеченные разговором, не видели меня. Я имел достаточно времени, чтобы разглядеть обоих, и мне только сейчас бросилось в глаза, как не похожи были эти двое один на другого. Мне даже пришла в голову весьма отдаленная ассоциация, в которой, несмотря на всю ее нелепость, была, однако, своя логика.

Шагая по широкой улице с зыбким и мягким грунтом посредине и деревянными тротуарами по бокам, Эммануил — это был он — то и дело останавливался, давая возможность своему спутнику поравняться с ним. Но через минуту тот, второй, — это был Либкин, — снова отставал, и опять повторялось то же самое. И странное дело — Эммануил, даже когда он останавливался, выглядел так, как будто продолжал идти; напротив, при виде Либкина, безостановочно шагающего, казалось, что этот человек застыл на одном месте. И вот именно сейчас, когда я глядел на них обоих, мне и пришла в голову эта отдаленная ассоциация — Вениамин и Сендерл из «Путешествия Вениамина Третьего» Менделе-Мойхер-Сфорима. Другое время, другие люди — и все же... Что было главным в Вениамине, думал я, если отбросить все и выразить это

главное одним-единственным словом? Вперед. Не зная точно — куда, не зная — как, но вперед! А главное в Сендерл, если опять-таки выразить это одним словом? Назад. В этом, размышлял я, глядя издали на Эмку и Либкина, и заключалась трагедия Вениамина, который, направившись своей дорогой в большой неведомый мир, вынужден был дорогой Сендерл возвращаться обратно. В этом повинно было то глухое и мрачное время, в которое он жил. И вот у нового поколения, которое хорошо уже знает — куда и знает — как, это Вениаминово стремление вперед способно совершить чудеса. Однако и сейчас все еще нет-нет да и появится Сендерл...

Не успел я до конца додумать свою мысль, как столкнулся с Эммой и Либкиным лицом к лицу.

Эмма тут же радостно сообщил:

— Ты знаешь — мы едем!

— Кто мы?

— Я и Шолом.

— Куда?

— Не спрашивай! На Амур, к границе.

— К реке Самбатон, — сказал я, мысленно не оставляя своей ассоциации, — за горы Тьмы?

— Почти так, — ответил Эмма, еще не понимая, куда я клоню.

— К тамошним евреям?

— Вот-вот, — рассмеялся Эмма, угадав, откуда моя ассоциация, и принимая ее. — Я и говорю ему: «Покажу тебе там таких евреев, которых еще свет не видел. Они и работают там, в колхозе «Красный Октябрь». Но об этом Менделе еще не знал.

— Но если так, — пошутил я, — кто же из вас Вениамин и кто Сендерл?

— Роль Вениамина я уступаю Эмке, — пробасил Либкин в холеную бороду.

— И ты, — повернулся к нему Эмма, — не стесняешься брать на себя роль Сендерл? И тебе не совестно, Шолом?

— Почему же Сендерл? — спокойно отозвался Либкин. — Как известно, Менделе, когда он писал свое «Путешествие Вениамина Третьего», прообразами послужили Дон-Кихот и Санчо Панса. Что же касается этих двоих, то еще не установлено, у кого из них больше заслуг перед человечеством.

— Называй себя как хочешь, только поезжай со

мною, о Санчо Панса! — патетически воскликнул Эммануил и тут же серьезно добавил: — Я тебя там действительно познакомлю с людьми, каждый из которых заслуживает по меньшей мере того, чтобы о нем написали поэму.

— Поэмы — это уж по твоей части, — сказал Либкин.

— Ну, а ты напишешь роман, идет? И заодно несколько хороших очерков для «Биробиджанер штерн».

Мы пошли вместе. Эмма рассказал мне об их командировке, и из того, что он рассказывал, было видно, как далеко мы шагнули со времен Менделеева.

Бюро обкома комсомола на своем ближайшем заседании должно было обсудить вопрос о том, как комсомольцы в колхозах помогают готовить фермы к зиме. Членов бюро разослали на места, и Эмму тоже направили с таким заданием. Он попросил, чтобы его послали в самые отдаленные колхозы — у границы, на Амуре. Ему пошли навстречу и дали дополнительное задание — познакомиться с тем, как идет подготовка клубов к зиме и как обстоят в них дела с художественной самодеятельностью.

На этот раз Эмма не собирался писать для газеты. Для этой цели он и брал с собой Либкина, выхлопотав для него удостоверение внештатного корреспондента и командировку от редакции.

— Вот ты увидишь, — уговаривал он Либкина, — у тебя это хорошо получится, должно хорошо получиться! — И тут же пояснил: — Мы, местные газетчики, уже десятки раз бывали во всех колхозах и на предприятиях. Мы знаем всех, все знают нас, и невольно приходится то и дело повторяться. Иной раз повторяемся уж слишком. Ты новый человек, увидишь все свежим глазом, и у тебя не получится шаблона, а это-то как раз и нужно!

Эмма тут же поделился своими планами. В них входило также обязательное посещение нескольких пограничных застав, где у него были знакомые командиры и где его уже ждали.

Стоило Эмме заговорить о пограничниках — и он уже не мог остановиться. Сразу видно было — эта тема ему по душе.

Из-за своей близорукости Эммануил был освобожден от военной службы. Трудно было себе представить более штатского на вид человека, чем он. И несколько удивлял

в нем этот неожиданный интерес к военным. Но еще более удивлял интерес со стороны военных к нему. Появившись на заставе, он быстро становился там своим человеком. Его даже брали с собой в наряд.

— Вы не представляете, — рассказывал теперь Эмма, — какое чувство испытываешь в наряде...

Он немного задумался, как бы подыскивая нужные слова, которые могли бы точно передать это чувство.

— Вы как бы шагаете по острию ножа. Да, да... И вот это острие — единственное, что отделяет один мир от другого...

Помолчав, тихо добавил:

— Ночь. Темно... Сыро. Все как бы окутано ватой, черной ватой. Ни звука. Ни зги... А мы идем. Идем гуськом, безмолвно, словно тени...

— Зачем? — спросил Либкин.

Эмка вздрогнул, словно там, где он только что был всеми своими помыслами, грянул выстрел. Медленно повернул он голову, снял очки и по-детски незащищенным взглядом посмотрел на Либкина.

— Что — зачем?

— Зачем это нужно? — повторил Либкин.

Эмма опять надел очки и, серьезно посмотрев на Либкина, строго сказал:

— Это пригодится.

Больше он ничего не добавил.

* * *

В тот же вечер мы собрались у Эммануила дома. Здесь были Либкин — он, в сущности, жил у Эммы, — Галя, Сима, Гиршке. Чуть позже пришла Лиля.

— Что это тебя не видно совсем? — спросила Галя. — Все дежуришь по ночам?

— Да, не хватает медперсонала и очень часто приходится дежурить. Вот и сегодня еле отпросилась. — И, внезапно повеселев, Лиля воскликнула: — Как я по вас всех соскучилась! Кажется, целую вечность не виделись. Что слышно нового? Расскажите!

— Мы едем! — сказал Эмма.

— Кто?

— Я и Шолом.

— Куда?

— Спроси у Гиршке, он тебе скажет точно.

— За тридевять земель, — сказал Гиршке, — к реке Самбатон, за горы Тьмы...

— Что это значит?

— На простом языке это означает, что мы едем на Амур, в колхоз «Красный Октябрь».

— Надолго?

— На неделю, а возможно — и на две.

— Когда же вы едете?

— Послезавтра.

— Так нужно же попрощаться! — сказала Лиля.

— А что же, по-твоему, мы здесь делаем?

— Разве так прощаются? — Лиля указала на стол, где стояли одна неполная бутылка «Горного дубняка», чайник и тарелка с дешевым печеньем.

— Это ты виновата, — упрекнул ее Эмма.

— Я?

— Ну да. Галя и Сима сказали, что без Лили не станут чистить картошку. Ты не пришла. А какая же вечеринка без картошки?

Разговор поддерживал в основном один Эмма. У него было, по-видимому, отличное настроение. Заметно было, что предстоящее путешествие с Либкиным волнует и радует его. Либкин же сидел с угнетенным видом, был хмур, рассеян. Лишь после того, как он и Эмма выпили вина, — остальные пили только чай, — он немного оживился.

Вскоре стали расходиться. Ребята пошли провожать девушек домой.

На улице Лиля на какое-то мгновение осталась одна. Либкин с невозмутимым лицом стоял немного поодаль. На протяжении вечера он и Лиля не обменялись ни единым словом.

— Что это вы, Либкин, стоите точно изваяние? — спросила Сима.

— А что мне, по-вашему, делать?

— Нужно проводить Лилю домой!

— А вы уверены в том, что она этого хочет?

— Вполне!

— Не нужно! Не нужно меня провожать! — вдруг вскрикнула Лиля и пустилась бежать прочь.

— Либкин, — скомандовала Сима, — а ну-ка, покажите, на что вы способны!

— Что это, приказ?

— Да.

В ту же секунду Либкин с быстротой, которую вряд ли можно было от него ожидать, ринулся вслед за Ли-лей.

— Давай, давай! — кричал ему вдогонку Эмма. — Ты же у нас испытанный марафонец!

Лиля остановилась. Сердце ее громко стучало. Что это? Она слышит позади себя шаги догоняющего ее Либкина. Как это понимать? В памяти всплыл тот вечер в театре... Как она переживала тогда, особенно когда стояла за кулисами... А закончилось все хорошо — он проводил ее домой, хотел даже поцеловать. Конечно же, она ему этого не позволила. И как можно такое позволить в первый же вечер? А потом, после этого вечера, он вдруг как в воду канул, исчез, и вот она опять слышит его шаги. Сейчас он ее настигнет. Что ей делать? Что сказать ему?

Лиля хотела бежать дальше, но какая-то неведомая сила держала ее на месте. И одна мысль в голове: «Как это понимать?»

Оказалось, она произнесла эти слова не мысленно, а вслух, хотя и очень тихо; в то время, когда запыхавшийся от бега Либкин стоял уже рядом с ней.

— Я виноват перед тобой, Лиля, виноват...

— Как это надо понимать, Либкин?

— Что?

— Все.

— Что все?

— Все, все! — воскликнула она. — И то, что было в театре, — вы же помните, целый вечер вы провели с ней, с той женщиной, с Мариам. А... провожали домой меня. После этого я вас больше не видела. Я знаю, что вы все время пропадали у нее, у Мариам. А сейчас... снова бегаєте за мной. Как это все понимать?

Либкин помолчал и усмехнулся:

— Деточка, неужели ты собираешься все в жизни понять?

Это вывело Лилю из себя.

— Не хочу я больше слышать слова «деточка»! — крикнула она. — Я знаю, что моложе, намного моложе вашей Мариам, моложе, может быть, вдвое, но я не ребенок, вы слышите, я все понимаю.

Либкин смотрел на нее сверху вниз и молча усмехался в бороду. Это окончательно взорвало девушку.

— Что же вы молчите, Либкин?

— Я думаю.

— О чем?

— Я думаю, Лиля, о том, что тебе совершенно не подходит злиться. Тебе гораздо больше идет, когда ты улыбаешься и видны на лице твои милые ямочки.

Лиля невольно улыбнулась и тут же рассердилась на себя за это.

— Вот такую я люблю тебя, — заметив ее улыбку, сказал Либкин.

— Что вы сказали? — переспросила Лиля, нахмурившись.

— Вот такую, говорю, я люблю тебя.

Лиля уже больше не чувствовала раздражения. Она устремила на Либкина долгий, испытующий взгляд.

— Что ты так смотришь?

— Я хочу видеть: слышали ли ваши уши то, что сказали ваши уста?

— Конечно.

Опустив глаза, девушка сказала:

— Слишком легко, Либкин, вы произносите такие слова. Наверное, не в первый раз вам приходится говорить их.

— Когда приходит любовь, какое значение имеет то, что было раньше? — заметил Либкин.

— Как это понять?

— Ну, я имею в виду то, что было до этого...

— Что же в таком случае имеет значение?

— Любовь — это всегда сегодняшний день. И коль есть она, то совсем не важно, что было вчера

— И что будет завтра?

— Да.

— Как же это?

— Просто любовь. Она сама по себе оправдание всему.

— Что же это за любовь? — недоуменно спросила Лиля. — Без вчерашнего дня, без завтрашнего? Я бы не хотела такой любви.

— Однако что же мы стоим с тобой на одном месте? — сказал Либкин.

— Идемте!

Он взял девушку под руку.

— Понимаешь, — заговорил Либкин, понизив голос, — любовь не измеряется такими категориями, как время. Какое значение для нее имеют день или год? Миг

любви равен вечности. А если бы можно было заполнить любовью вечность, то и она бы промелькнула как миг...

То, что говорил Либкин, казалось Лиле не совсем понятным, может быть, слишком умным, но ей нравилось то, что он говорил.

— Говорите, говорите, Либкин, — попросила она.

Лиля теперь внимательно прислушивалась не столько к его словам, сколько к его голосу, рокочущему на самых низких тонах. Этот голос будил в девушке какие-то странные, до сих пор еще не изведенные ею чувства.

И неизвестно, почему ей вспомнились вдруг слова матери: «Дочь моя, не думай, что красивой быть легко». Когда мама в первый раз сказала ей об этом, Лиля удивленно спросила: «Почему, мама?» — «На красивую всегда находится много охотников», — ответила мать. «Так это же хорошо, — сказала Лиля, — из них легче выбрать одного». — «А что ты будешь делать, если выберут тебя?» Лиле до сих пор непонятно, что имела мама в виду, но каким-то особым чутьем она чувствовала, что слова матери имеют отношение и к этой ее сегодняшней прогулке с Либкиным. Лилина мама умная женщина, это ничего, что она мало смыслит в грамоте. «Мужчины не ценят того, что им легко дается», — говорит она. И еще: «Может случиться, что тебе понравится человек, тебе до боли захочется поцеловать его, но ты хоть умри, а виду не подавай». В другой раз мать сказала: «Мужчина тебе все посулит, пока не получит свое. А завтра и глядеть не захочет в твою сторону...» — «Что это значит?» — не поняла Лиля. «То и значит! — отрезала мать. — Запомни это, дочка».

Лиля хорошо помнила слова матери. До сих пор это для нее не составляло труда, потому что никто еще не смущал и не тревожил ее душу так, как этот массивный бородатый человек, который ведет ее теперь под руку. Он то и дело наклоняется и точно околдовывает ее своим басом. О чем он говорит? Неважно. Он говорит о любви. Но та любовь, о которой говорит он, совсем иная, нежели та, о которой толкует мама. Та любовь, мамина, чересчур уж строгая: тут не стой, там не ходи, — скучная какая-то любовь. Иное дело у Либкина.

— Как вы сказали, Либкин, — тихо спросила Лиля, — миг любви равен вечности?

— Да.

— А если бы можно было любовью заполнить вечность...

— Да, да...

Ей непременно нужно было у него что-то спросить. Она, кажется, уже спросила. А он ответил? Нет. Но сейчас это уже не важно. Он крепко держал ее под руку, и она, казалось, не идет с ним, а парит в воздухе, едва касаясь земли.

Либкин видел, как в темноте светились ее большие, чуть выпуклые глаза.

«Тебе до боли захочется поцеловать его, но ты хоть умри, а виду не подавай...» — говорила мама.

Словно угадав ее мысли, Либкин неожиданно нагнулся и поцеловал ее. Лиля не уклонилась, ничего ему на это не сказала.

Они договорились встретиться на следующий день, у больницы, когда Лиля закончит работу.

В условленное время Либкин был на месте. Он видел, как медсестры в белых халатах выходили из больницы на улицу или спешили в больницу. Одна из сестер направилась к нему, и он не сразу узнал в ней Лилю.

— Вы меня не узнали?

— Я впервые вижу тебя в белом халате.

— Ну как, идет он мне?

Либкин внимательно оглядел ее. Халат свободно облегал стройную фигуру девушки, глаза ее казались еще чернее, больше, чем обычно.

— Очень!

— Что очень?

— Халат тебе очень идет.

— У вас все «очень». Я не верю вам, Либкин.

Она попросила немного подождать и быстрыми шагами направилась в больницу.

В ожидании Лили он принялся расхаживать вдоль больничного корпуса. Неожиданно кто-то тронул его за руку. Перед ним стояла Лиля. В ярком крепдешиновом платье девушка также была красива, но красива уже по-иному, и трудно было сказать, какое из этих одеяний больше шло ей.

— Халат тебе, пожалуй, больше идет, — заметил Либкин.

— Это вам так кажется, — рассмеялась Лиля, польщенная его замечанием. Она ведь специально выбегала к нему раньше, чтобы он мог посмотреть на нее в ха-

лате. — Так что же, — спросила она, — пойти мне снова переодеться?

— Не надо, — ответил он. — «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...» А я добавлю: очень и очень.

— Ах, опять «очень»? — Лиля бросила на Либкина строгий взгляд.

— Что же мне делать, если ты и впрямь очень...

— Ничего не «очень». Я обыкновенная девушка, обыкновенная биробиджанская девушка, и не ищите, прошу вас, во мне ничего исключительного или необыкновенного.

И, немного помолчав, добавила:

— Иначе вы еще во мне разочаруетесь... А я не хочу, чтобы вы разочаровались, слышите?

— С такими глазами и такими ямочками на щеках тебе этого нечего бояться, — сказал Либкин, крепко беря девушку под руку.

От этих слов и его прикосновения у Лили перехватило дыхание. Она долго не могла попасть с ним в ногу. Некоторое время они шли молча.

— Так что же мы будем делать? — спросил он наконец.

— Что значит что? Мне кажется, мы уже что-то делаем.

— Что именно?

— Мы гуляем.

— Это верно, — согласился Либкин.

— Мы сегодня долго будем гулять с вами, хорошо?

— Хорошо. А после?

— Что после?

— А после?

Лиля удивленно посмотрела на него и рассмеялась.

— Вы же сами говорите — не важно, что раньше, что после...

— Гм, — неопределенно буркнул он, — у тебя хорошая память.

— А вы рассчитывали на плохую?

Они шли большим деревянным мостом, который вел к сопке. Сопка со считанными приземистыми домишками у подножия темнела на фоне заката, ярко пылавшего позади нее.

— Завтра будет ветреный день, — сказала Лиля.

— Почему?

— Такой красный закат обязательно к ветру.

Они прошли весь мост до конца и повернули обратно. Закат теперь освещал сзади их плечи.

— Так вы хотите знать, что будет после? — спросила Лиля.

— Ну да.

— После мы поужинаем.

— Поужинаем?

— Да.

— Где же?

— У меня.

— У тебя?

— Я сказала дома, что сегодня мы придем с вами к ужину.

— Ну?

— Что «ну»? Мои будут довольны. Вы познакомитесь со всей моей родней.

— И большая у тебя родня?

— В первый раз поинтересовались.

Он крепко сжал ее руку.

— По правде говоря, Лиля, из всей твоей родни, какая бы она большая ни была, интересуешь меня только одна ты, понимаешь? Но мне, конечно, интересно узнать, кого ты имеешь еще. Отца?

— Ну да.

— Маму?

— Угу...

— Сестер?

— Нет.

— Ни одной?

— Ни одной.

— Братьев?

— Троих.

— Вот как! Что они делают?

— Работают. Один — токарем на обозостроительном заводе. Второй — слесарь на заводе металлических изделий. Третий — шофер.

— А ты?

— Медсестра, как видите.

— Так ты в семье самая младшая?

— Да.

— И еще к тому же единственная девушка?

— Да.

— В таком случае, — заметил Либкин, — я очень затрудняюсь сказать, кого в вашей семье надо считать

наиболее удачной — ту ли, которая самая младшая, или ту, которая одна-единственная. Но мне все же кажется, что обе они очень и очень...

— Опять?

— Но что же мне делать, если...

— У меня еще есть бабушка, — перебила его Лиля, — вот она у нас действительно очень и очень славная.

— Этому, видишь ли, я особенно рад, — отозвался Либкин.

— Чему?

— Тому, что бабушка у тебя славная.

— Вы, Либкин, надо всем готовы смеяться, — с упреком проронила девушка и добавила: — Ну вот вы и познакомьтесь со всей моей семьей.

Слова эти она произнесла тоном, который ясно говорил, что предстоящему знакомству она придает значение.

Либкин промолчал.

За сопкой медленно догорал закат. Стало темней, прохладней.

Они спустились с моста и не спеша зашагали в том направлении, где жила Лиля. Когда они подошли к ее дому, стало уже совсем темно.

— Подождите немного здесь, — попросила Лиля и тихо отворила калитку.

Она довольно долго не возвращалась, потом он услышал почти рядом ее голос:

— Идемте!

Лиля быстро пошла мимо передней стены дома с двумя освещенными окнами и, завернув за угол, где-то исчезла. Либкин не совсем уверенно шел следом. Свет, падавший из окон, освещал невысокие деревья, кусты. «Очевидно, садик», — подумал он. У задней стены дома Либкин остановился. Лили нигде не было видно, девушка словно растворилась в темноте. Вдруг он услышал откуда-то со стороны:

— Идите сюда...

Либкин стоял у задней, глухой стены дома. Напротив меж деревьев что-то темнело. Он сделал шаг вперед и, еще не видя девушки, почувствовал ее руку. Она завела его под маленький навес и усадила на что-то рядом с собой.

— Где мы? — спросил Либкин.

— В беседке. Мы у нас в саду. Давайте посидим здесь немного, а потом зайдем к нам. Хорошо?

— Хорошо.

— Вам здесь нравится?

— Очень.

— Опять? — Лиля в темноте хотела закрыть ему рот, и ее прохладная ладонь сразу ощутила его горячие губы, мягкую бороду, усы. Она хотела тут же забрать руку, но Либкин задержал ее в своей.

— Не надо, — тихо прошептала Лиля.

— Надо, надо! — горячо заговорил Либкин, целуя ее пальцы. — И не называй меня больше Либкин. Зови меня Шолом. Слышишь?

Девушка ничего не ответила. Сердце у нее сильно билось.

— Что ты молчишь? Ну, назови же меня по имени.

— Я пока еще не могу вас так называть. Может быть, позже когда-нибудь.

— И перестань мне говорить «вы». Говори мне «ты», как я тебе...

— Этого я еще тоже не могу.

— Что же ты можешь? — спросил он, сделав короткую паузу между поцелуями. — Любить ты можешь? Сердце у Лили забилось еще сильнее.

— Не знаю...

Все эти слова почти не произносились вслух. Они как бы вместе с дыханием входили из уст в уста.

Никто их здесь не мог увидеть. В темноте они даже не могли различить один другого и только лишь ощущали свою близость.

— Это у вас или у меня? — спросила Лиля.

— Что?

— Стучит сердце.

— У нас обоих.

Странное дело — Либкину, забредшему с Лилей в эту беседку, на какое-то мгновение вдруг показалось, что и он все это переживает впервые. Затем он с удивлением подумал: да может ли это быть, в девятнадцать лет — и такая наивность... Ребенок, совсем еще ребенок... «Любить ты можешь?» — «Не знаю»... И она действительно не знает, в этом можно не сомневаться.

— Лиля, — тихо окликнул он ее.

— Что?

— Ты не боишься меня?

— Почему же я должна вас бояться, Либкин?

— Ну, все же мы здесь сидим с тобой одни.

— Ну и что же?

— Как это? Мало ли что...

— Мы еще немного с вами посидим и зайдем в дом — ужинать. Хорошо?

Это его развеселило.

— И ты действительно думаешь, — сказал он, — что все это делается так просто? Заводишь мужчину в темную беседку и выходишь с ним оттуда как ни в чем не бывало?

В его голосе ей слышались странные нотки.

— Что же тут такого?

— Как это что? Я вот тебя не выпущу отсюда — и все...

— Не нужно смеяться надо мной, Либкин.

— А я и не смеюсь, я говорю вполне серьезно.

— Ну, а если серьезно, то давайте сейчас же уйдем отсюда.

Лиля поднялась с места. Либкин тоже поднялся и встал перед девушкой.

— Лиля! — Либкин обнял ее, и она испугалась не его, а себя. Хотела крикнуть, но он успел зажать ей рот своими горячими губами, усами, бородой. Его руки жадно блуждали вокруг ее шеи.

Лиля, сделав усилие, рванулась в сторону и выскочила из беседки. Он протянул руки, пытаясь задержать девушку, но ему это не удалось. В темноте он не мог разобрать, куда она побежала, но слышал ее быстрые шаги и устремился вслед за ней. Догнал он ее почти в самом конце длинной изгороди. Очевидно, тут был огород. Земля мягко крошилась под ногами, кое-где росли кусты, и, зацепившись за куст, Либкин чуть было не упал. Лиля, едва различимая в темноте, стояла в углу, где сходились две стороны забора.

— Не надо... Я прошу вас, Либкин, не надо...

Он крепко привлек ее к себе.

— Когда же?

— Когда-нибудь. Позже...

— Теперь!

— Позже...

— Теперь!

Лиля вдруг почувствовала, как кровь зашумела у нее в ушах, и ей показалось, что она вот-вот упадет — до

того ослабили ноги. Внезапно ее обожгла мысль: «Завтра он в твою сторону и смотреть не захочет». Мама...

— Нет, нет! — крикнула Лиля.

Он прижал ее к изгороди, но она быстро нагнулась и выскользнула у него из-под локтя. От неожиданности и желания удержать ее Либкин поскользнулся и упал. Некоторое время он так и оставался в одной и той же позе, на четвереньках, но Лиля этого уже не видела. Она вскочила на крыльцо, быстро толкнула дверь в прихожую и скрылась там.

Склонив голову на засов, Лиля тихо плакала в темной прихожей. Разве этого она хотела?! А ведь могло быть так хорошо!.. И вот все, решительно все рухнуло...

Либкин медленно поднялся, стряхнул землю с ладоней и осмотрелся по сторонам. Неприветливым показался ему сейчас дом, хмуро глядевший на него своей глухой задней стеной. Поодаль темнела беседка.

Он сделал шаг и испугался — что-то цепкое ухватило его за ногу. Наклонившись, нащупал куст, другой, третий. Кусты, дыша на него запахом увядания, как бы нарочно сговорились не выпускать его отсюда.

Либкин боялся натолкнуться в темноте на кого-нибудь из родных Лили. Осторожно добравшись до калитки, он осмотрелся, затем быстрыми шагами вышел со двора на улицу. Здесь он наконец почувствовал себя свободней.

Шагая посреди пустынной улицы, Либкин вдруг остановился. Да, ужин, вспомнил он. Она же пригласила его сегодня на ужин.

Тут же он вспомнил Мариам и криво усмехнулся в растрепанную бороду. Та оставила его без обеда, а эта — без ужина.

Бедный Либкин! Чего доброго, его и вовсе еще уморят здесь голодом...

Глава седьмая

Вскоре начался учебный год. В школе у меня была большая нагрузка. Кроме того, подбросили еще часы в педагогическом техникуме. Как всегда, когда много работы, я и не заметил, как пролетел месяц. За это время я только два раза видел Гиршке, однажды случайно встретил на улице Эмку и ни разу не видел Либкина.

До меня дошло, будто он совсем перестал показываться на улице. Почему? И каковы результаты его командировки? Писал ли он что-нибудь? И как обстоит дело с его работой в газете?

Встретив Гиршке, я буквально обрушил на него все эти вопросы. Вид у Гиршке был хмурый, и отвечал он без всякого энтузиазма. В газете Либкин не работает и после командировки ничего не написал. Правда, в дороге он простудился и вернулся больным. Откуда ему, Гиршке, все это известно? О, это ему слишком хорошо известно потому, что, когда Либкин лежал больной, Сима и Галя каждый день ходили к нему домой, носили еду и лекарства.

— И Лиля тоже?

— Лиля — нет.

— Как же это?

— Не знаю. Между нею и Либкиным что-то произошло, — сказал Гиршке, — не знаю что, но она сейчас и слышать о нем не желает.

— А теперь он уже здоров?

— Вероятно.

— Точно не знаешь?

— Нет.

— Что говорит Сима?

— Ничего.

— Почему?

— Она больше не заходит к нему.

— А Галя?

— Тоже.

Гиршке некоторое время помолчал и тихо добавил:

— Понимаешь, об этом не очень удобно говорить, но тебе я могу сказать. Не совсем приятная вышла история.

— Что случилось?

— Однажды, когда Либкин уже почти выздоровел, к нему, как обычно, пришли Сима и Галя, принесли еду. На сей раз, однако, они застали у него в комнате какую-то блондинку и, понимаешь, — Гиршке сморщился, точно от зубной боли, — в такой ситуации, что девушки тут же пустились наутек. И больше их ноги там не было.

— Давно это случилось?

— Недели две назад.

— Но почему он не показывается на улице?

— Как видишь, у него есть дела дома, — криво усмехнулся Гиршке.

— А может быть, он все же пишет? — предположил я.

— Может быть, — согласился Гиршке. — Хотя он и говорит, что сам процесс писания не составляет для него труда, но как-то нужно все же занести на бумагу все его многочисленные сюжеты и идеи. Без этого они и подавно ничего не стоят...

* * *

С Эмкой я вскоре встретился на областной комсомольской конференции, где я был одним из делегатов. Эмка, как член обкома комсомола, сидел в президиуме. Незадолго до окончания дебатов он выступил. Худощавый, с густой, вьющейся каштанового цвета шевелюрой, взлетающей в такт речи, в больших отсвечивающих роговых очках, он был подобен на трибуне сгустку энергии, направленному в определенную, хорошо известную цель.

Речь его многим показалась неожиданной. Полагали, что, как поэт и журналист, он будет говорить о проблемах, так или иначе имеющих отношение к его профессии. А Эммануил говорил о другом — о том, что, начиная со школы, надо готовить физически закаленную, обученную военному делу молодежь.

— Это одна из важнейших задач комсомола, — сказал он. И тут же с возмущением поведал собравшимся о том, как в нескольких колхозах пограничной зоны, где он недавно побывал и специально интересовался этим вопросом, лишь считанные молодые люди сдали нормы на значок «ГТО» и всего лишь несколько человек являются ворошиловскими стрелками. — И это — на границе! — подчеркнул он. — А там имеются комсомольские организации и секретари этих организаций. Что можно сказать об их работе?

Откинув со лба волосы, Эммануил продолжал:

— По ту сторону нашей границы, за Амуром, — японские самураи. На Западе все шире расправляет свои зловещие крылья фашизм. У нас есть уже трагический пример Испании, и мы не можем сегодня знать, что нас ждет завтра. Надо быть в полной боевой готовности!

Эммы уже не было на трибуне, но ему все еще продолжали аплодировать.

В перерыве мы с ним встретились в буфете. Я хорошо отозвался о его выступлении, но он только махнул рукой: сказал, мол, что надо, и незачем об этом распространяться. Поинтересовался, как у меня идут дела в школе, хватает ли времени на то, чтобы писать. Услышав мой отрицательный ответ, Эмма с сожалением заметил:

— У иных свободного времени прорва, да что толку?

— Кого ты имеешь в виду?

— Так, кое-кого, — неопределенно ответил он.

Два делегата, военные, увлекли его за собою в зал. По окончании конференции, когда стали расходиться, я уже на улице вновь столкнулся с Эммануилом.

— Когда можно застать тебя дома? — спросил я. — Мы давно уже не собирались вместе — ты, я, Гиршке... Нам есть о чем потолковать.

— Мы обязательно встретимся, — сказал Эмма, — но несколько позже. Завтра я отправляюсь к рыбакам, начинается путина. Уже пошла кета!

Он хлопнул меня по плечу и добавил:

— Эх, если бы ты не был так поработен своей школой, махнули бы вместе! Прямо дух захватывает, когда идет кета! Ну, и поработать при этом немного не мешает! А чего стоит уха — прямо с костра, свежая, с перцем! Ничего не едал вкуснее!..

— Да, жаль, что не могу с тобой поехать, — сказал я. — Возьми Либкина.

— Либкина? — переспросил Эмма и нахмурился.

— Он все еще живет у тебя?

— Ты хочешь спросить, все ли я еще живу у него?

— Ты шутишь?

— Нет. Теперь это его квартира, я в ней больше не живу.

— Где же ты живешь?

— Где придется.

— Как же это получилось? — недоумевал я. — Либкин что, отнял у тебя жилье?

— Нет, я сам ему его отдал.

— Зачем?

— Об этом в другой раз, — сказал Эмма. — Жаль, что ты не можешь поехать со мной на путину. Но после путины мы непременно встретимся и поговорим обо всем.

На прощание он крепко пожал мне руку.

Глава восьмая

Несколько дней подряд Эмка вместе со смуглыми от загара молодыми колхозными рыбаками выходил на баркасе в просторно раскинувшийся Амур. Вместе с ними проделывал он нелегкую, но увлекательную работу. Ловко и сноровисто опускали в воду длинные, растянутые сети; затем сети, тяжелые от улова, изо всех сил тащили наверх, и вот уже расплескалась на дне баркаса сверкающая гора рыбы — крупной, средней, мелкой... Снова поглощают сети вспененные волны и возвращают их, полные живым, струящимся серебром.

После долгого рабочего дня короткий ночлег. Усталое тело уже вовсю одолевает сон, а перед закрытыми глазами рыбы, рыбы, рыбы — они прыгают, бьют хвостами, рвутся из сетей...

Еще рано и свежо, но рыбаки уже на ногах. Причудливой красной рыбой выплывает из-за горизонта солнце, и сколько волн сейчас плещется в реке, столько и блестящей, трепещущей рыбы... Волны режет темный баркас, и, словно испугавшись, как бы его тоже не поймали в расставленные сети, выскакивает из воды солнце, стряхивает с себя алый жар и закутывается в золотисто-розовую пелену, а река вдоль и поперек вся покрывается золотистой чешуей.

И снова после продолжительного рабочего дня в сгустившейся, обволакивающей темноте вспыхивает то тут, то там на берегу дымный костер. Ночь приглушает голоса людей, которые лежат или сидят возле костра, обхватив руками колени. Разговаривают мало. Больше молчат, захваченные ощущением счастья, которое дал хороший, удачный день работы, принесший богатый улов. Еще хорошо оттого, что костер отгоняет комаров, а в закоптелом казанке скоро будет готова уха. Люди молчат. Счастье не разговорчиво.

Насытившись горячей, приправленной перцем ухой, рыбаки затягивают песню. И река несет ее к границе. В темноте река дышит прохладой, и, несмотря на трудный, напряженный день, спать не хочется. Хочется бесконечно вдыхать в себя свежесть ночи и вслушиваться в тайны, хранимые землей, водой, далекими горами по ту сторону границы, и самого себя чувствовать причастным к вечным тайнствам мира...

Загоревший, обветренный, пропахший дымом кост-

ров, в своих высоких резиновых сапогах и брезентовой робе Эмма сейчас очень походил на тех дюжих рыбаков, вместе с которыми рыбачил, коротал досуг, хлебал, обжигаясь, горячую уху. Но в Эммануиле было еще и такое, что отличало его от рыбаков и выдавало в нем городского человека: это его худоба, большие роговые очки и его взгляд — взгляд человека, который, кроме того, что он видит в данную минуту, видит и еще что-то, пока сокрытое от него, но он уже следит за тем, как сегодняшнее, будничное, привычное включается в то далекое и еще неведомое, о котором он пока что имеет весьма неясное, расплывчатое представление.

С путины Эммануил вернулся не с пустыми руками и не один. В той деревне на Амуре, где он работал с рыбаками, была пограничная застава. На этой заставе Эмму знали, даже считали своим человеком — он там не раз выступал с беседами на литературные темы. Особенно пограничникам полюбились в его исполнении стихи Маяковского и Гейне. Однако еще больше по душе им пришлись его остроумные рассказы за ужином и русские и украинские песни, которые он своим сильным голосом запевал так, что не поддержать его нельзя было.

На этот раз он застал на заставе нового командира, с которым тут же и подружился. Это был высокий, широкоплечий украинец с васильково-голубыми глазами на крупном мужественном лице. Начальник он был строгий, не допускал ни малейших отклонений от железных правил пограничной службы, а в часы, свободные от службы, весельчак, острослов и гармонист, каких поискать! Выяснилось к тому же, что с Эмкой они земляки: командир заставы был родом из деревни, расположенной неподалеку от Кременчуга — города, где родился Эмка. Деревня была рядом с небольшим еврейским местечком, и командир знал поэтому еврейский язык, причем говорил он на своеобразном, грубоватом подольском диалекте, несколько растягивая слова. Эмме, с детства привыкшему в доме своего отца, видного еврейского деятеля культуры, к чистому литературному языку идиш, было немного странно, когда этот украинец, по-приятельски хлопнув его по плечу, вдруг сказал:

— Чтоб мне так жить, — ты отличный бухер¹, Эмка. Я таких люблю...

¹ Парень.

Когда Эмма спросил у командира, как его зовут, тот в ответ запел веселым басом:

Ой, не ходи, Грицю,
Тай на вечерниці...

— Вот я как раз и есть, — сказал он, — тот Грицю, который «не ходи на вечерниці»...

— А по батюшке?

— Отец у меня уже старый и весьма уважаемый человек, но он простит тебе, если ты его имя, — кстати сказать, его зовут Охрим, — не будешь излишне тревожить.

Так они и стали друг для друга — Эмка и Грицко.

Казакевич несколько дней провел на заставе и собирався уже ехать домой, когда командир получил распоряжение явиться в Хабаровск, в штаб. Явиться ему следовало в понедельник. Была суббота. Эмма предложил своему новому другу поехать с ним в Биробиджан. Там они проведут остаток субботнего дня и все воскресенье, он познакомит его со своими друзьями, а в воскресенье вечером командир выедет в Хабаровск.

На том и порешили.

И вот оба стоят они на привокзальной площади в Биробиджане.

— Так кто же все-таки кого привез в Биробиджан, — смеялся командир, — она нас или мы ее?

«Она» — это старая, выдавшая виды грузовая машина, на которой они с большим трудом добрались сюда. В пути машина то и дело увязала в рытвинах и лужах, и нужны были невероятные усилия, чтобы вытаскивать ее и ехать дальше.

Они стояли на привокзальной площади, грязные, усталые с дороги, с большим завязанным мешком.

— Так куда мы, Эмка?

— Малость подожди, Грицко, подумаю.

— А где ты тут живешь?

— Вот, — Эмма указал на двухэтажный деревянный дом по ту сторону дороги.

— Так это же рукой подать!

— Да, но туда мы не пойдем.

— Почему?

— По двум причинам: одна — долго рассказывать, другая покороче — фаршированную рыбу хочешь отве-
дать?

— Еще бы!

— Тогда идем! — Эмма взялся было за мешок, но Грицко остановил его.

— Но-но! — сказал он. — Каждая кета из этих двух, я уже не говорю о сазанах, будет потяжелее тебя самого.

Он легко закинул мешок на плечи и спросил:

— Далеко?

— Не очень, — ответил Эмма. — Вот мы с Октябрьской выйдем с тобой на Ленинскую, свернем влево, на Комсомольскую, пересечем Дзержинскую, а там и Волочаевская...

— Пошли! — решительно сказал Грицко.

Незадолго до того прошел дождь, и на улицах стояли глубокие лужи. Но Эмка был обут в резиновые сапоги, Грицко — в юфтевые, и они храбро зашагали вперед.

Глава девятая

Сима в легком пестром халатике, разгоряченная, покрасневшая — она только что кончила мыть полы — выскочила на крыльцо.

— Полкан! Полкан! Тише, Полкан!

— Твою собаку мы все равно не принимаем всерьез, — сказал Эмма, захлопывая за собой калитку и пропуская вперед своего друга.

Заметив на крыльце Симу, Полкан оборвал лай и покорно потащил грохочущую по проволоке цепь к своей конуре. Полкан, которого хорошо знали все друзья Симы, был отличный пес. При появлении во дворе чужих он, конечно же, начинал лаять, но это был не злой, а вполне добродушный, безобидный лай, означавший: «Пришли гости! Выходите встречать гостей!»

— Смотрите-ка, Эмка! — Сима с радостным изумлением бросилась навстречу Эмме. — Совсем не узнала тебя в этой робе...

Увидев тут же незнакомого человека с мешком за плечами, она остановилась и быстро оправила на себе пестрый халатик.

— Уехал — и как в воду канул! — обиженно сказала Сима, обращаясь к Эмме. — Хотя бы дал знать, когда приедешь.

— Все верно! — весело воскликнул Эммануил. — В воду канул... В полном смысле этого слова! И вот тебе доказательство — рыба, полный мешок!.. Познакомься — мой друг, командир пограничной заставы.

Встретить командир этот в тайге нарушителя границы, он бы наверняка знал, что ему нужно делать. А тут растерялся. «Гляди-ка, — подумал он, — сама с вершок в этом пестром халатике, а глаза такие огромные, такие черные». Сам не зная зачем, он провел правой рукой по мешку и, так и не сняв его с плеч, протянул правую руку девушке. Сима также неизвестно почему зарделась, подавая ему руку. Затем назвала себя и воскликнула:

— Что же мы стоим здесь? Идемте в дом! Вы же устали с дороги.

— Все верно! — ответил Эмма. — Но прежде всего мы отправимся в баню и хорошо попаримся, с веничком. А вот когда вернемся, тогда мы поступим, Сима, в полное твое распоряжение.

Из бани вернулись они красные, распаренные, посвежевшие. Баня полностью смыла с них всю усталость после дальней дороги.

Они еще с улицы заметили, что все окна в доме Симы освещены, и, войдя в дом, застали здесь немало гостей. Во-первых, здесь была Галя. Сима, конечно же, успела ей сообщить о том, что Эмка вернулся, и не один, а «с каким-то очень высоким и очень красивым командиром-пограничником...» Это самое она успела передать своей самой близкой подруге — Лиле. С Лилей они вместе учились в школе с первого по седьмой класс. После школы одна ушла учиться в педагогический, другая — в медицинский техникум, но это не помешало их дружбе. О том, что вернулся Эмма, Сима успела сообщить также и Гиршке, тот — мне, и таким образом все мы собрались здесь. Были тут и Симины родители, и младшие ее сестренка и брат.

— Ого, сколько гостей! — переступая порог, воскликнул Эмка. — Как на хорошей премьере! Познакомьтесь. — И он тут же принялся всех представлять своему другу. Делал он это весело, непринужденно, с шутками, прибаутками, и сразу видно было, что в доме здесь Эмма — свой человек.

— Вот это хозяин дома, Велвл Шпитальник, — сказал Эмма. — Ты можешь его называть просто Володей — не обидится. Правда, Володя? Кстати, весь этот

дом он сам и построил, собственными руками. Мастер на все руки: столяр, плотник, жестянщик, стекольщик, печник и...

— Одним словом, и швец, и жнец, и на дуде игрец, — рассмеялся хозяин дома и протянул гостю руку.

— А вот это, — продолжал Эмма, — жена Володи — Фира. Должен тебе сказать, что Адам и Ева вряд ли были так под стать друг другу, как эта пара. Да тем что? Никаких забот! Бог создал их, создал рай для них, они там гуляли, срывали, знай, с дерева сладкие яблоки... А эти сами заложили свой сад, правда, не рай, но райские яблочки в нем растут. А то, что они маловаты и горьковаты на вкус, не такая уж и беда! А это их дочь Сима. С нею ты уже знаком, она учительница. Это ее сестренка Света. Видишь, какая симпатичная! Школьница, отличница. А вот это самый младшенький, Додик, он родился уже здесь, в Биробиджане.

Эмма знакомил всех подряд со своим другом, при этом каждому давал краткую и меткую характеристику. Его товарищ крепко пожимал руки новым знакомым. Никто, однако, не мог толком разобрать его фамилию — так невнятно он ее произносил. Переспрашивать было как-то неловко, и только одна Света, младшая сестренка Симы, робко переспросила его, когда он пожимал ей руку:

— Как, как, вы говорите, ваша фамилия? Я не слышала! — Девочка вопросительно уставила на него свои черные любопытные глаза.

Гость явно смешался.

— Вы понимаете, — отозвался за него Эмма, — сами видите, какой это красавец и богатырь. Но как только дело доходит до его фамилии, он начинает гундосить себе под нос что-то совершенно невнятное. Боится, что как только назовет свою фамилию, его тут же выставят из дома вон.

— Неужели такая страшная фамилия? — спросила хозяйка.

— Да, — ответил Эмма, — Убейбатько.

Обладатель страшной фамилии молча развел руками, как бы говоря: «Ну вот, сами видите, и тут уж ничем не помочь!» При этом такая чудесная, добрая улыбка озарила его широкое лицо с васильковыми глазами, что сразу стало ясно: характер этого богатыря не имеет ничего общего с его фамилией.

— Вы украинец? — спросил Велвл.

— А як же, — ответил гость на своем родном языке.

— Так мы же земляки! — воскликнул Велвл. — Откуда вы?

— Из-под Кременчуга. Вот с Эммой мы настоящие земляки!

— Предупреждаю, — сказал Эмма, — если кто-нибудь вздумает сказать что-нибудь нелестное о моем друге, не делайте этого на языке идиш...

— Я все до слова понимаю! — откликнулся гость по-еврейски и при этом так заразительно засмеялся, что все кругом от неожиданности тоже разразились смехом.

— Откуда вы знаете еврейский? — спросил хозяин.

— Очень просто, — ответил друг Эммы. — Место, где я жил, было наполовину деревней, наполовину местечком, и мы все время дружили между собой — украинские и еврейские йотн...¹

В устах этого украинца еврейский диалект Подольщины приобретал какое-то необъяснимое очарование, и это вызывало у всех присутствующих добрый, веселый смех.

— Что же мы стоим здесь? — вдруг спохватилась хозяйка. — Проходите!

Все, однако, продолжали стоять в тесной прихожей, сгрудившись вокруг Эммы и его друга.

Направо две прикрытые двери вели в отдельные комнатухи — очевидно, спальни.

Налево дверь была широко распахнута в просторную кухню, где сейчас что-то кипело, булькало в больших кастрюлях на плите, от этих кастрюль поднимались вверх клубы горячего пара. Пахло вареной картошкой, рубленным луком, топленым жиром.

А прямо напротив прихожей располагалась большая, сверкающая чистотой комната. Она манила к себе светло-зеленым абажуром со свисающими кисточками бахромы над покрытым белой свежей скатертью столом, широким диваном с красивой, резной спинкой — ее сработал сам хозяин — и чудесными кружевными розами — работа хозяйки, манили также фамильные фотографии на стенах под стеклом. Все устремились туда.

Командир, почувствовав, что у него под ногами что-то путается, нагнулся и поднял с пола маленького серого котенка.

¹ Ребята.

— Чей это такой красивый котенок? — спросил он.

— Это мой, мой! — вставая на цыпочки и протягивая вперед ручонку, закричал самый младший Шпитальник.

— Это твой? Ну, на тебе, раз он твой. — Дядя-богатырь нагнулся, отдал Додику котенка и погладил мальчика по голове.

Эмма остановился в дверях кухни.

— Смотри, Грицко, как тут разделали нашу рыбу! И добавил, обращаясь к хозяйке:

— Фира-сердце, пустите меня на кухню, я должен посмотреть, что вы здесь сделали.

— Пока еще не на что смотреть, — ответила хозяйка, заливаясь краской. — Вот я завтра нафарширую рыбу, тогда и посмотрите!

Она была довольна и проделанной работой и тем, что эту работу заметили.

— А это что — не рыба? — Эмма указал на две большие тарелки.

— Это я пока что из вашей кеты успела вынуть икру.

В окружении больших белых колец лука рубиново-красная икра выглядела очень аппетитной.

— Как вы думаете, что в первую очередь требуется к такой закуске? — спросил Эмма.

— Хороший глоток водки! — ответил ему в тон Грицко, и все со смехом устремились к столу.

За ужином гости и хозяева много шутили, смеялись. Потом до поздней ночи гуляли на улице, пели. Этого вечера оказалось достаточно, чтобы новый друг Эммы, ко-мандир пограничной заставы Грицко Охримович Убей-батько, совершенно покори́л нас всех.

Назавтра, в воскресенье, в обеденный час, мы вновь пришли к Симе и ее родителям, чтобы отведать фаршированной рыбы, как и было условлено накануне.

Примерно в два часа дня мы первыми зашли к Шпитальникам во двор — Эмма, Грицко и я. На этот раз Полкан, увидев нас, не удосужился даже подняться с места. Он лежал возле конуры, опустив голову на передние вытянутые лапы. Когда мы вошли, он лениво приоткрыл один глаз и тут же закрыл его вновь, как бы говоря: «Идите себе, идите, я вам доверяю».

Так как мы были первые, то не слишком торопились

войти в дом. Эмма решил показать Грицку владения Велвла Шпитальника.

— Видишь вот этот дом? Так вот — весь он, начиная от фундамента и кончая этим красивым коньком на крыше, сделан его собственными руками. Разумеется, ему помогали Фира и дети, помогали соседи. Особенно сосед, что живет по ту сторону забора, — Бабушкин Егор Иванович. Славный человек, он строил еще Транссибирскую магистраль. А вот этот садик видишь? — продолжал Эмма, когда мы уже были по другую сторону дома. — Каждое деревце, каждый кустик тут также посажены собственными руками. А этот огород? Сейчас его уже выкопали, но летом здесь есть все, что угодно, — картошка, огурцы, помидоры, лук, свекла, морковь, — что еще надо! А вот сарай для коровы, курятник. А это душ собственной конструкции. Летом, в жаркий денек, становишься под него — благодать!

— Когда же он все это успевает? — спросил Грицко. — Он ведь где-то еще и работает?

— Как же, лучший стахановец на мебельной фабрике! А все, что ты видишь, делается во время отпуска, в выходные дни, после работы.

— А говорят, что евреи не умеют работать, — заметил Грицко.

— Те, которые так говорят, — сказал Эмма, — сами бездари и лодыри. Велвл Шпитальник не один ведь такой, вся Волочаевская улица застроена таким же образом. Все эти люди одними из первых приехали сюда, на станцию Тихонькая, приехали, чтоб на этой земле осесть, пустить в нее глубокие корни.

И, помолчав, добавил:

— У евреев, как и у каждого народа, конечно, есть и свои уроды и ничтожества, и таких немало! Но не они представляют народ. Народ представляют Велвл Шпитальник, его жена, дети и подобные им. За дюжину гнилых интеллигентов, мнящих, что на них держится свет, не отдам я и ногтя с ноги Володи Шпитальника.

Пока мы осматривали участок, подросли Галя, Гиршке, Лиля и еще двое-трое знакомых. Полкан подарил им один-единственный взгляд, блеснувший из полузакрытого глаза, — он считал и этих людей своими.

Мы все вместе поднялись на крыльцо, ведущее на застекленную веранду. Эмма шел впереди. На верхней ступеньке он вдруг остановился и дал нам знак, чтоб

остановились и мы. Стоя один позади другого, мы через широкое окно веранды увидели Велвла Шпитальника, работавшего у столярного верстака.

Велвл крепко стоял на коротковатых ногах, а верхняя часть его бронзового от загара, худого, но мускулистого тела в зеленоватой майке ритмично двигалась взад-вперед за большим рубанком, из-под которого без конца кудрявилась золотисто-желтая стружка. Погруженный в свою работу, он напоминал запущенный в ход механизм, который не скоро еще остановится.

Эмма с шумом распахнул дверь и крикнул:

— Смотрите, как этот человек нарушает праздничный день!

Велвл прекратил работу, с недовольным видом обернулся, но, увидев нас, сдержанно улыбнулся и сказал:

— Эмка со своими фокусами!

Были в этих словах и легкий упрек, и удовольствие, которое хозяин дома испытывал всякий раз, когда веселый, жизнерадостный Эмка появлялся на пороге его жилища.

— Что — Эмка? — отозвался тот. — Отдыхать-то когда-нибудь надо?

В эту минуту дверь из передней комнаты открылась, и на веранду вошла Фира с большой поварешкой в руках.

— Вот-вот! — в сердцах проговорила она. — Хоть вы его вразумите! Мои слова уже не помогают... Чтобы человек никогда не знал разницы между буднями и праздником.

— А что, собственно, для тебя означает праздник? — повернулся к ней Велвл.

— Любой человек на свете, кроме тебя, — ответила Фира, — знает, что в праздник не работают.

— А тебе пора бы уже знать, что, когда я работаю, у меня праздник!

— Что вы скажете на это? — обратилась к нам раскрасневшаяся Фира.

— А сама она, вы думаете, лучше? — спросил Велвл.

Да, мы знали — она, Фира, тоже «не лучше»... В этом смысле они были, что называется, «два сапога — пара». Это-то, очевидно, и соединило их, когда ему было едва восемнадцать, а ей неполных семнадцать лет. И вот у них уже трое детей, старшая дочь на выданье, а сами они еще довольно молоды.

Но, схожие характерами, они совершенно не походили друг на друга внешне. Он невысок, худощав, но, как говорится, крепок в кости. Небольшие зеленоватые глаза на худом, продолговатом лице всегда полны выражения озабоченности. Молчун. Его правило в жизни — язык может отдыхать, работать должны руки. Она, кругленькая, полненькая, с черными как смоль волосами и темным пушком над верхней губой, улыбчива, говорлива, из тех, о ком говорят: «Женщина-огонь».

Фира работала продавщицей в магазине. До ухода на работу она успевала подоить и выгнать в стадо корову, приготовить завтрак и сварить обед. После работы она возилась на огороде, убирала в доме — всюду и везде поспевала. И просто удивительно — когда бы и сколько человек ни пришло, у нее для них всегда готово было угощение. Для нее не составляло труда между делом, будто бы играючи, вылепить несколько сот пельменей или испечь пирожков с печенкой, которые так и таяли во рту.

Что же касается кисло-сладкого жаркого, фаршированной рыбы, голубцов и прочих подобных блюд, Фира в этом деле не знала себе равных.

Всеми этими яствами и был сейчас уставлен широко раздвинутый стол в большой комнате. А в центре стола красовалась в специальных блюдах аппетитно зарумяненная, приятно и остро пахнущая фаршированная рыба, между блюд стояли бутылки с водкой и графины с наливкой из дикого винограда и смородины.

— Оце дило! — восхищенно произнес Грицко Охримович, окидывая взглядом стол, и тут же по-еврейски добавил: — Чтобы мне так жить, подобного я уже давненько не видел...

— А ты опасался, — хлопнул его Эмка по плечу, — что нам некуда будет определить кету с сазанами. Говорил же я тебе, что найду для них место. Ну и как, нашел?

— Ты да не найдешь! — ответил Грицко. — Теперь я уже вижу, что на тебя можно во всем положиться. Одно слово — добрый хлопец!

Сима, покрасневшая от работы — она усердно помогала матери, — зашла в комнату с двумя подносами с хлебом. Один поднос у нее тут же выхватил из рук Эмка, второй — Грицко.

— Без хлиба нема дила! — сказал Грицко, ставя поднос на стол.

Сима на правах хозяйки бросила беспокойный взгляд на Гиршке:

— Тебе удобно здесь?

Гиршке, по своему обыкновению, отыскал себе местечко где-то на отшибе, у края стола. Сима поняла, что там она не сможет сесть с ним рядом, а сегодня, у себя дома, ей этого очень хотелось.

— Пересядь сюда, пожалуйста, здесь тебе будет лучше, — указала Сима на место поближе к середине стола.

Это обращение немало смутило Гиршке, но он послушно поднялся и пересел. Сима тут же заняла место рядом с ним, не заметив при этом довольного взгляда, которым обменялись ее родители.

Гиршке, как и Эмма, часто бывал в этом доме. Поначалу родители Симы имели виды на Эммануила. Но с тех пор, как тот стал ухаживать за Галей, они решили, что и Гиршке неплохая пара для их Симы. Славный парень, даже помогает в работе на огороде. Говорит, что работу эту любит, она напоминает ему его родной дом, небольшую деревеньку Рудню неподалеку от Житомира, где его мать и сестры ведут крестьянский образ жизни. Родители Симы знают — их дочь часто проводит с Гиршке вечера — и ничего против этого не имеют: он тихий, скромный парень, не пьет, не курит, — что еще надо? К тому же, говорят, — у него и талант. В этом они, правда, не очень разбираются, но это не так уж и важно. Странно другое: сколько уж времени он проводит с Симой и в дом заходит, а о главном — ни слова, как воды в рот набрал... Тут и не без Симиной вины, считают родители. Если нравитесь друг другу, договоритесь до чего-нибудь, нет — к чему канитель? Вот почему родители Симы удовлетворенно переглянулись, заметив, как их дочь у всех на глазах села рядом с Гиршке. Они видели в этом добрый знак.

— Ну, Володя, скажи уже что-нибудь, — обратилась к мужу Фира, — пора начинать!

Велвл Шпитальник с упреком уставился на жену: кому, как не ей, знать, что ему легче отстоять день с рубанком в руках, нежели произнести несколько слов за столом! Фира выдержала немой укор мужа и, как бы оправдываясь, сказала:

— Ты ведь хозяин, кому же еще начинать?

Да, она права, он хозяин. Велвл поднялся с рюмкой, из которой несколько капель расплескалось на стол.

— Что мне сказать? Вот у нас стол, не сглазить бы, полная чаша. Крыша над головой. Соседи, друзья. А десяток лет назад ничего этого не было. Тайга. Все мы тут сделали своими руками...

Велвл умолк. Хотел еще что-то добавить, но решив, что и так сказал уже много, закончил:

— Выпьем за то, чтобы было еще больше, чтобы было!

Как обычно после первой рюмки, за столом стало тихо. Слышен был лишь перезвон ножей и вилок.

Когда ото всего понемногу отведали, Эмка обратился к хозяину дома:

— Я знаю тебя, Володя, уже не первый год. Но до сегодняшнего дня не знал, что ты такой отчаянный плут.

Велвл уставился недоуменным взглядом на Эммануила.

— Сколько я тебя знаю, — пояснил Эмма, — ты все уверяешь, что ты не мастак говорить, молчун молчуном. А сегодня вот закатил такую речь, что мы все, оказывается, тебе в подметки не годимся...

— Эмка со своими фокусами! — улыбнулся Велвл.

— Нет, я это говорю вполне серьезно.

Эммануил встал:

— Внимательно вслушались ли вы в то, что этот человек только что сказал? «Ничего не было. Есть. И — пусть будет!» Кратко, исчерпывающе передана суть всего, что мы с вами сделали здесь за десяток лет. На эту тему, признаться, я написал немало стихов, но, уверяю вас, в них я осветил эту тему гораздо слабее, нежели это только что сделал Велвл, сказав несколько считанных слов. Так пусть будет! — закончил Эммануил, поднимая рюмку.

Велвл, уверенный в том, что Эмма просто подшучивает над ним, погрозил ему пальцем и тоже поднес рюмку к губам. Но выпить не успел. На пороге комнаты появился высокий пожилой мужчина с полуседой округлой бородой. В водянисто-голубых глазах его пряталась виноватая улыбка.

— Стучу-стучу — никто не отзывается. Вот и зашел. А у вас, смотрю, праздник, и я, выходит, совсем некстати...

Велвл поставил рюмку на стол и устремился навстречу вошедшему.

— Егор Иванович, дорогой, что значит некстати? Наоборот, очень кстати! Идемте к столу, садитесь вот сюда, пожалуйста...

— Нет, нет, Володя, — возразил тот, — вы празднуйте, а я-то как раз зашел по очень будничному делу.

— Но сегодня воскресенье!

— Моя Домна Каллистратовна не знает никаких воскресений. Именно сегодня захотелось ей шинковать капусту. А у нас, как назло, сломалась машинка. «Зайди, говорит, к соседям, возьми у них».

Фира поднялась с места:

— Егор Иванович, я сейчас же иду за Домной Каллистратовной, приведу ее сюда, и мы все вместе пообедаем.

— Нет, нет, она даже слушать не захочет!.. Ну хорошо, я с вами, так и быть, одну рюмочку выпью. Одну, не более.

Володя усадил соседа рядом с собой.

— Егор Иванович Бабушкин, коренной дальневосточник, славный человек, — представил он его.

— Смотрю, молодежь собралась, — заметил Егор Иванович, разглядывая сидящих за столом, — и даже военный товарищ?

— Да, это друзья моей Симы. Вы же их знаете всех, — пояснил Володя. — А военный — командир пограничной заставы на Амуре. Приехал погостить на денек.

— С заставы? Что же там слышно? — обратился Егор Иванович к пограничнику. — Самураи крепко шкодят? Забрасывают шпионов, а?

— Мы им воли не даем, — ответил Грицко.

— А как вообще на границе? — спросил Егор Иванович. — Войной не пахнет?

— Граница, батя, на замке!

— То-то же! — сказал Егор Иванович и поднял рюмку. — Будем здоровы! — Он выпил и подцепил вилкой кусок фаршированной рыбы. — Вот это у тебя получается отлично, Фира, — сказал он хозяйке. — Моя Домна Каллистратовна на что уж мастерица стряпать, но вот фаршированная рыба у тебя получается лучше...

— Егор Иванович один из старейших местных жителей, — сказал Володя, — он поселился здесь еще до революции. С какого года, Егор Иванович?

— С тысяча девятьсот двенадцатого. Да, друзья, еще ни о каком Биробиджане и слыхом не слыхать было, когда я приехал сюда.

Закусывая фаршированной рыбой, он продолжал:

— Сам-то я сибиряк. Строил Транссибирскую железнодорожную магистраль. Было мне примерно тогда столько, сколько каждому из вас сейчас. С Домнушкой моей мы только-только поженились. Она-то как раз хотела ехать дальше, хотя бы в Хабаровск — все-таки город, — но мне приглянулось здесь. Леса, пастьбы сколько угодно, рыбачь, на охоту ходи, — чего же еще? И поставил я здесь свой дом. Сейчас тут уже целая улица выросла — Волочаевская, а тогда домик-то мой стоял один-одинешенек. Затем построилось еще несколько человек, а я Домнушку свою все успокаивал: «Не горюй, говорю, со временем сюда знаешь еще сколько людей прибудет, и город вырастет, да еще какой!» А она: «Вон кто сюда придет — медведи да волки, а больше никто не сунется!» А я как в воду глядел! В двадцать восьмом-то году как потянулись сюда эшелон за эшелоном! И все молодежь, комсомольцы! Стал еврейский район, потом область. Мы, сибиряки, раньше евреев мало знали. Не привелось. Слышишь только, бывало, иногда, что, мол, такие-сякие, работать не любят, в торгаши норовят и прочее. А тут гляжу я — люди трудиться норовят. Обосноваться всерьез хотят. Вот мой сосед, Володя, — в глаза и за глаза скажу одно: прекрасный человек, золотые руки! Да разве он один такой! Сколько лет живем вот душа в душу, дай бог и далее не хуже...

— Дай бог, — поддержал Володя. — Еще рюмку, Егор Иванович!

Егор Иванович выпил, но сколько его ни просили, чтобы он посидел еще немного, не помогло.

— Мне уж от моей Домнушки и так достанется.

— Вот о ком нужно писать поэмы, — сказал Эммануил, когда Егор Иванович ушел.

Чуть задумавшись, добавил:

— А может быть, и романы...

Когда уже все порядком подкрепились, отведав от каждого из кушаний, что были на столе, кто-то предложил:

— Стихи!

— Эмка, Гиршке, читайте стихи! — раздались голоса.

— Нет, давайте уж лучше споем! — вмешался Грицко и тут же затянул басом старую еврейскую песню:

Отец мой — нищий забулдыга,
А мать ворует на базаре рыбу...

Все расхохотались — так хорошо у него это получилось. Однако его не поддержали.

— Сначала стихи, а потом уже песни, — сказала Сима.

— Эмка, — обратился Грицко к Эммануилу, — почи-тай им стихи, которые ты написал на путине, а? Чтобы всем нам столько счастья было, отличные стихи!

— Хорошо, мы сегодня будем читать стихи, — согласился Эммануил и обратился к Гиршке: — Будем читать стихи?

Тот задумчиво ковырял вилкой в тарелке. В ответ на вопрос Эммы он неопределенно покачал головой.

— Будем читать! — категорически сказал Эмма. — Я вам прочту «Стихи о путине». Они на путине и написаны. Наша Фира-сердце сегодня приготовила чудесную рыбу, с которой мы еще пока даже не справились наполовину, и вот эта рыба требует поначалу немного жесткой прозы. Одним словом, я хочу произнести тост!

— Давай, Эмка!

— Давай! — раздались голоса.

— Собственно, — продолжал Эммануил, — я хочу произнести несколько тостов. Но так как мы должны оставаться трезвыми — мы хотим еще читать стихи, — я все тосты объединю в один, но такой, что за него все должны будут выпить до дна. Идет?

— Говори!

— Не тяни за душу!

— Наливайте рюмки!

Эмма снял очки, тщательно протер их и снова надел, как бы давая понять этой паузой, что шутливый тон, царивший до сих пор за столом, следует отставить в сторону, а все то, о чём будет говориться дальше, исключительно серьезно и важно.

— Первый тост я предлагаю, — сказал он, — за хозяев этого дома — за Володю и Фиру Шпитальник! Трудом таких, как они, создается все, что нам в жизни любо и дорого...

Велвл и Фира задвигались на своих стульях, им было неловко: за что вдруг такая честь? Но Эмма говорил

серьезным, даже несколько торжественным тоном, и они не осмелились сказать что-нибудь.

— Второй тост — за наших девушек! Без них скучно было бы жить на белом свете...

Все три девушки подняли глаза на Эммануила. Взгляд Гали выражал ревность: каких это девушек, кроме нее, ему еще нужно, чтобы не жилось скучно на свете? В глазах Симы можно было прочесть благодарность: о, пусть хоть эти слова Эмки дойдут до Гиршке, потому что он, Гиршке, может, кажется, обойтись и без девушек вовсе... Взгляд Лили был полон надежды: кто знает, может быть, ей еще удастся встретить в жизни большую, настоящую любовь?

— Третий тост, — сказал Эмма, — за моего друга, командира пограничной заставы Грицка, за тех, кто ночи не спит ради того, чтобы мы могли спокойно спать, спокойно работать, спокойно гулять с нашими девушками. Ну, и четвертый тост — за поэтов! За тех, кто воспевает наш труд, наше оружие и нашу любовь! Выпили! — скомандовал Эмма и опрокинул свою рюмку. То же сделали и остальные.

— Вот это тосты! — слышались голоса. — Один другого лучше!

— Каждый из них стоит того, чтобы за него выпили отдельно! Во всяком случае, за девушек! — неожиданно для всех выпалил Гиршке. Он был уже слегка пьян.

Сима просиявшими глазами посмотрела ему в лицо и воскликнула:

— И за поэтов тоже!

— За пограничников! — крикнула миловидная сестренка Симы Света.

Сидя со своим братиком у самого краешка стола, она ни на минуту не спускала восхищенного взгляда с красных кубиков в зеленых петлицах командира. И вот ее тост им был услышан. В ответ он воскликнул:

— За наших пионеров!

— Я уже комсомолка, — обиделась Света.

— Так это же прекрасно — за наш славный комсомол!

— За все пить — водки не хватит! — пошутил Эмма.

— Так хватит наливки! — вмешалась Фира.

— Курица не птица, наливка не питье, — ответил Эмма. — А сейчас будем читать стихи. Гиршке, мы будем читать стихи?

Выпив, Гиршке становился смелее и потому сейчас с готовностью откликнулся:

— Конечно, будем. Но первым начинай ты.

— Согласен. Но с чего же мне начать? — задумался Эмма.

Тряхнул густой, кудрявой шевелюрой и, поправив очки, сказал:

— Знаете, я сейчас перевожу Маяковского. Прочту вам что-нибудь из этих переводов.

— Давай!

— Я очень люблю Маяковского, — сказал Эмма. — Двух поэтов в мировой литературе ценю очень высоко — Гейне у немцев, Маяковского у нас. Кстати, между ними есть много общего. Во всяком случае, больше, чем это может показаться на первый взгляд. Но это еще недостаточно освещено в литературе, и я собираюсь написать специальную работу.

Эмма сделал короткую паузу и продолжал:

— Русский язык... Помните, у Тургенева: «...О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык...» И действительно, этот язык очень богат, безгранично богат, этот язык такое прекрасное, изумительное сокровище, что кажется — добавить к нему что-либо новое уже невозможно. Но вот появляется Маяковский, — заметьте: появляется после Пушкина, Лермонтова, после Некрасова и Блока, — и находит в нем, в этом удивительном языке, новые грани... Вчитайтесь в его стихи. С какой силой он лепит слово, сколько открывает в нем новых возможностей, красок...

Эмма окинул взглядом всех сидевших за столом и продолжал уже тише, как бы делясь чем-то очень интимным:

— Вы понимаете, переводить Маяковского трудно, очень трудно. Это значит вступить в поединок с ним и с самим собой тоже. И для языка, на который переводишь его, это трудное испытание: окажется ли он, этот язык, в состоянии хотя бы отчасти передать всю громкую силу поэта? Но именно эта трудность и заставила меня взяться за переводы Маяковского. Знаете, что я сейчас перевожу? «Облако в штанах». Это одна из сильнейших, одна из самых пророческих вещей Маяковского. И труднейшая для перевода. Я пока перевел только отдельные главы поэмы. Потрудиться пришлось до изнеможения. Например, такое:

Вошла ты,
Резкая, как «нате!»,
Муча перчатки замш,
Сказала:
«Знаете —
Я выхожу замуж».

Эмма посмотрел на своих слушателей, как бы желая увидеть, насколько дошло до них то, что он сейчас прочитал, и спросил:

— Приходилось ли вам встречать что-либо более сильное по экспрессии, по смелости мысли и форме? Чего стоит одна эта рифма — «замш» и «замуж»? Попробуйте передать это на другом языке, к примеру — на идиш. Я попытался, и вот что получилось пока.

Эмма прочитал отрывок в своем переводе.

— Это еще, конечно, не то, — сказал он. — Нужно еще искать и искать новые возможности. Или такое:

Я,
Обсмеянный у сегодняшнего племени,
Как длинный
Скабресный анекдот,
Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
Главой голодных орд,
В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

С каким-то захватывающим чувством мы все слушали Эмму. Как свободно он переходил с одного языка на другой, как глубоко чувствовал-тот и этот, до чего выразительно звучали в его устах оба языка.

Эмма читал Маяковского раскатисто, громко, подражая поэту, которого подростком довелось ему слышать во время его выступлений в Харькове.

— Ну, довольно, — сказал он, — Маяковского я мог бы читать без конца.

— А теперь свое почитай, — попросила Галя.

— После Маяковского?

— Мы простим, если и будет послабее.

— Этого-то я как раз и боюсь...

— Я же просил тебя, — напомнил Грицко, — прочти «Стихи о путине». Ты ведь обещал.

— Ну хорошо, коль обещал, никуда не денешься. — Эмма вновь поднялся и обвел всех сидевших за столом

внимательным, серьезным взглядом. — Стихи не нужны в предисловии, — сказал он, — они сами должны все сказать о себе, в противном случае это плохие стихи. Но перед тем как прочесть мои сегодняшние стихи, хочу все же сказать несколько слов. Я написал их на путине, с которой только что вернулся. Что знали когда-то евреи о подобной путине? Ничего! Как и о многом другом не знали — о тайге, о реке Амур. Поэтому, между прочим, в еврейской поэзии прошлого рыба была в большом дефиците, если не считать левиафана да еще рыбу из той еврейской народной песни, которую Грицко нам порывался сегодня спеть, там вы слышали: «А мать ворует на базаре рыбу...» Кстати, эти самые слова я и взял эпиграфом к моим стихам.

И Эмма наизусть прочитал:

Вот он — наш Амур, и вот — отчизна наша...
Сети тонут, волны стонут на Амуре,
На крутой волне шаланды резво пляшут,
Курят рыбаки, поют и балагурят¹.

Он перешел на короткий, чеканный ритм:

Разгулялся ветер!
Волны встали дыбом!
Гарпуны остры,
И сеть прочна!
Нам нужна ли рыба?
Ой, нужна!
Нужна!

Эмма прервал чтение и спросил с улыбкой:

— Нужно... читать дальше?

— Нужно, нужно! — воскликнули все в один голос.

Сеть накрыла рыбу тонкой паутиной,
И гарпун рванулся в пенистый поток,
Видишь, как лавина,
Катится путина.
Нам нужна ли рыба?
Ой, нужна,
 браток!

Эмма вопросительно посмотрел на нас.

— Нужна! — крикнула Галя.

— Конечно! — поддержала ее Лиля.

Эмма, улыбнувшись обеим девушкам, продолжал:

¹ Здесь и далее перевод стихов Н. Горской.

Рыба в чешуе блестящей, клейкой,
От ветров и солнца потемнели руки.
— Ты чего смеешься?
— Отчего?.. Сказал Шолом-Алейхем:
Смех полезен, он врачует все недуги!
— Кто же он?
— Неважно — кто!
Ветер, волны — дыбом!
Сеть у нас прочна!
— Нам нужна ли рыба?
— Ой, нужна!
Нужна!

Эмме долго аплодировали. Просили почитать еще.

— Может, не нужно? — спросил он.

Под командой Грицка все хором воскликнули:

— Нужно! Нужно!

— Ну хорошо, — согласился Эмма, — я пишу сейчас поэму. Она почти завершена. В центре поэмы французский журналист. В первые годы после революции он приехал к нам в страну и написал восторженную книгу «Страна, рожденная в вихре». Под влиянием обстоятельств люди, однако, меняются, и не всегда к лучшему. Со временем этот самый журналист, — зовут его Арман Вато, так и будет называться поэма, — со временем утратил свои прогрессивные идеи, а вместе с ними также и остатки таланта. И вот он снова едет в Россию, на этот раз с хорошо оплаченным заказом реакционной газетенки, — облить грязью страну, которую некогда славил. Он едет по стране, присматривается к новой жизни, встречает людей, которые еще помнят его первую книгу. Они принимают его как друга, преподносят ему цветы, и лишь тут Вато начинает понимать, как низко он пал, как убог и ничтожен он.

Эмма прочитал небольшой отрывок из поэмы, затем повернулся к Гиршке:

— Теперь ты.

— Сейчас, сейчас, — как бы просыпаясь, откликнулся Гиршке.

Перебирая мысленно свои стихи, он никак не мог решить, что же ему прочесть. Выступать после Эммануила не просто. Тот полон захватывающего пафоса. В стихах же Гиршке пафоса нет. И содержание иное. У Эммы в каждом стихотворении — вся страна, весь мир. А у него, у Гиршке? Он был еще ребенком, когда у них среди зимы отелилась корова. Чтобы теленок не замерз, его поместили на кухне. И вот стоит он, новорожденный, по-

шатываясь на своих тонких ножках... Об этом Гиршке написал стихотворение. Еще он написал о своих сестренках, о том, как под вечер чистят они картошку... Как же будут выглядеть эти стихи после громоподобных строк Эммануила? Правда, и у Гиршке тоже есть стихи о земле, о вселенной, но они выглядят совсем не так.

Когда мы уже окончательно потеряли надежду что-либо услышать от задумавшегося Гиршке, тот, не поднимая глаз, вдруг тихо начал:

Огромен мир, а жизнь — мала,
Охотник зарядил ружье,
Кому-то он желает зла, —
Но слово не о том мое.

Аплодисментов не последовало. Но за столом все разом стихли. Мы повернулись к Гиршке в ожидании — не прочтет ли он еще что-нибудь своим тихим, неторопливым голосом. И все так же, не поднимая глаз, будто стесняясь чего-то, он стал читать:

По дворам, садам вишневым
Я люблю бродить до пота,
Убежать к Днепру и ветру
И по берегу пройтись,
Чтобы вдруг изведать снова
Радость роста и полета —
Словно по ступеням светлым
Ты шагаешь прямо ввысь.

Стал я лучше, — друг мой, веришь? —
Словно чистоту-сберег.
И счастливый, и усталый
Возвращаюсь я домой,
Распахну пошире двери —
Пусть ворвется в мой мирок
Необъятный, небывалый,
Лучезарный мир земной.

Гиршке уже кончил читать, а тишина за столом все еще продолжалась. И в этой тишине, словно натянутая струна, продолжал звенеть его голос... К еде больше никто не притронулся. Эмма сидел молча, устремив вдаль задумчивый взгляд. Вдруг он положил руку на плечо Грицка, возле которого сидел, и так, словно, кроме них двоих, тут больше никого не было, доверительно сказал ему:

— Знаешь, Грицко, мне кажется, что я когда-нибудь возьмусь за прозу.

— В чем дело? — спросил Грицко. — Разве ты пишешь плохие стихи?

— Стихи пишет он, — ответил Эмма, указав на Гиршке.

Тот, закончив читать, погрузился в глубокое раздумье, и было похоже, что он продолжает читать стихи про себя. Трудно было определить, слышал он или нет то, что сказал Эмма и что на это ответил Грицко. А я подумал: почему вдруг Эмма такое сказал — о прозе? И только что пришла ему в голову эта мысль или он вынашивал ее давно?

И еще я подумал: почему Эммануил счел нужным поделиться этим не со мной, не с Гиршке — его старыми друзьями, а с ним, его новым другом, командиром пограничной заставы? Вообще-то он славный парень, этот командир, но к литературе он ведь не имеет отношения.

— Проза так проза! — весело ответил Грицко Эммануилу. — Ты славный парень, Эмка, и я верю, что и проза у тебя получится на славу!

Мог ли тогда знать Грицко Охримович Убейбатько, что слова его окажутся пророческими? Все мы многого тогда еще не знали. Ближайшее будущее было пока еще скрыто от нас. То, что Эмма вдруг высказал такую мысль, и высказал ее не нам, его давнишним товарищам, а своему новому другу, командиру пограничной заставы, не говорило ли это о том, что скрытое от нас будущее уже чуть задело его слабым трепетом своих еще отдаленных, но грозных крыльев?

Разом, все вдруг, поднялись со своих мест.

— Стойте! — скомандовал Эмка и указал на порог, отделявший комнату, в которой мы находились, от передней. Два больших окна за тюлевыми занавесками смотрели на запад. Там в ярком пламени заката догорало солнце, и ярко-красное отражение обоих окон лежало опрокинутым на сверкающем полу. В отражении одного из окон, на самой середине, сидел котенок. Серенький, с полосатой спинкой, каждый волосок его мягкой шерстки светился на солнце...

— Остановись, мгновенье, ты прекрасно! — воскликнул Эмка.

Как зачарованные, смотрели мы на эту картину.

Затем солнце зашло. Отражение на полу погасло. Котенок сбежал.

Мы все пошли провожать на вокзал Грицка. Нам было грустно с ним расставаться.

Поезд тронулся. Стоя в тамбуре, Грицко Охримович Убейбатько всем нам махал рукой, а Эммануилу прокричал:

— Скорее к нам приезжай! Мы ждем тебя, слышишь?

Потом долго, до самой поздней ночи, мы гуляли по улицам города.

Уже дома, когда я ложился спать, у меня вдруг промелькнула мысль: один человек весь минувший день не был с нами, и никто о нем не вспомнил ни разу, как будто его вовсе не было на свете. Да и я совершенно забыл о нем, о Шоломе Либкине.

Глава десятая

Время шло своим чередом. Один месяц уступал место другому, и каждый из них приносил свое: июль и август — жару, грозы, бурно прибывающие воды в Амуре и его притоках; сентябрь — погожие, ясные дни, которые как бы хотели милостивым теплом своим вознаградить за изнуряющую духоту прошлых месяцев; затем наступал октябрь, тоже еще довольно сухой, солнечный в первой своей половине, хотя и с заметно убывающей голубизной в выстывающих небесах; весь пронизанный золотом увядающей листвы вначале, во второй своей половине он начинает дуться, хмуриться и, глядишь, пугнет падающим большими хлопьями снегом — ни дать, ни взять пришла зима... Но снег этот вскоре превращается в грязное месиво, затем наступают еще солнечные дни. Однако становится все холоднее, особенно по ночам, деревья обнажаются догола. В конце месяца наступают первые заморозки. Но снега все нет.

Снег выпадает в первые дни ноября, как бы нарочно для того, чтоб вырядить землю в сверкающую белизну к торжественному Октябрьскому шествию. Над слепящей белизной первого снега празднично колышется кумачовое многокрылье знамен...

Снег этот уже остается. Холодное, но безоблачно-чистое дальневосточное небо за зиму еще раз или два нахмурится и одарит землю редким снегопадом, а может, поскупится и на это.

Морозы крепчают.

В одноэтажных и двухэтажных деревянных жилых домах в Биробиджане тогда ни парового отопления, ни других удобств, без которых теперь не мыслят себе жизнь, не было. На зиму приходилось заготавливать немалое количество дров или угля. Дрова надо было распилить, наколоть, аккуратно сложить в сарае, крупные куски угля раздробить. Каждое утро и вечер втаскивали в дом большие охапки дров, по нескольку ведер угля и хорошо натапливали печь, чтоб мороз не хозяйничал, пробравшись сквозь деревянные стены дома.

Кто не делал этого, мерз.

Шолом Либкин мерз.

Он все еще жил в квартире Эммануила. Тот был истым джентльменом. Сначала уступил он Либкину квартиру, с тем чтоб тот мог без помех работать. Было это тогда еще, когда он надеялся, что в конце концов Либкин примется за свои сюжеты и хотя бы из некоторых сделает то, что он, Эммануил, надеялся в них увидеть. Но вскоре он убедился, что Либкин меньше всего в его квартире занимается делом.

Однажды Эммануил вернулся из очередной командировки. Как обычно, он ехал на попутной машине, изрядно запылился в дороге и завернул домой за бельем. После бани он рассчитывал даже заночевать там, так как не застал товарища, у которого жил последнее время.

Дверь от его квартиры открыла Казакевичу незнакомая светловолосая женщина.

— Кого вам надо? — спросила она недовольным голосом.

Эмма с любопытством оглядел незнакомку. Невысокая, молодая, с растрепанными волосами, в помятом желтом халатике, накинутом, как он успел заметить, на голое тело. Ничего не ответив, он прошел во вторую комнату — дознаться у Либкина, что все это значит. Но тот на низкой широкой тахте, до половины прикрытый одеялом, с торчащей кверху бородой, блаженно храпел.

Эмма взял из шкафа белье, еще кое-что и ушел, с тем чтоб больше сюда не возвращаться.

Женщина, так нелюбезно открывшая ему дверь, была та самая блондинка, после неожиданной встречи с которой Галя и Сима перестали сюда заходить.

Эммануил стал еще чаще уезжать в командировки.

В колхозах, на заставах, у пограничников, у рыбаков, среди которых у него было немало друзей, он чувствовал себя лучше, чем в собственном доме, который так неожиданно потерял.

Все же в свой дом, вернее — в дом к Либкину, он пару раз еще заглянул. Но это было после того, как ему стало известно, что та молодая светловолосая женщина куда-то исчезла и с Либкиным больше ее не было.

«Этого следовало ожидать, — подумал Эмма, — женщин подобного рода мало интересуют мужчины в том положении, в котором находился Либкин, — ни определенных занятий, ни средств к существованию». Да и знакомые его, которых тут было немало, постепенно от Либкина отвернулись, а после того как и эта женщина исчезла, он вовсе оказался один. Но — что казалось довольно странным — не видно было, чтоб Шолом Либкин как-то стремился изменить это свое положение. Эммануил понял, что нужно что-то предпринять, и, вернувшись из очередной командировки, он с твердым намерением оказать Либкину помощь зашел к нему. Тот лежал на тахте, устремив неподвижный взор в потолок. На приезд Эммануила он никак не реагировал — возможно, не заметил его.

— Шолом!

Ни звука.

— Нам надо побеседовать.

Молчание.

— Поговорим, Шолом...

— О чем?

— О тебе...

— Не твоя забота...

— В сарае дрова, уголь. Хотя бы ты печку истопил, замерзнешь ведь...

Молчание.

— Тебе нужны деньги? Вот...

— Как хочешь...

После этого Эммануил еще заглядывал к Либкину, но разговора не получалось. Либкин все в той же позе лежал на тахте, устремив ничего не видящий взгляд в потолок.

— Скажи, Шолом, — обратился к нему Эмма, — кого ты считаешь виноватым в твоём теперешнем положении? Может быть, виноват я, тем, что уговорил тебя сюда приехать?

— Ничего не считаю. Прошу — оставьте меня все в покое...

Я об этих посещениях Эммы к Либкину ничего не знал. Загруженный работой в школе, в педагогическом техникуме, а вдобавок еще и в вечерней школе, я не видал никого из своих друзей с того самого дня, когда мы все вместе собрались у Шпитальников и Эмма познакомил нас с его новым другом, командиром пограничной заставы Грицком Охримовичем Убейбатько. С тех пор прошел месяц, а может, и больше. Подходил к концу ноябрь. Усталый, но довольный (почти все мои ученики хорошо справились с контрольной работой), возвращался я из вечерней школы, где проводил последних два урока.

Светила полная луна. Снег звучно скрипел под ногами, предвещая на ночь крепкий мороз. Дышалось свободно, легко и хотелось подольше оставаться среди этой сверкающей морозной ясности.

Людей на улице было не много, и я издали еще разглядел Эмку. Он шел, крепко о чем-то задумавшись, и не заметил меня, даже почти со мной поравнявшись.

— Эмка!

— А?

Выведенный из задумчивости, он с удивлением уставился на меня и тут же сказал:

— Вот хорошо, что встретились! Есть у тебя хотя бы немного свободного времени?

— Что ж, ты привык к тому, что я всегда занят?

— Так ведь оно и есть.

— Но на сей раз я иду с последних двух уроков в вечерней школе и свободен до завтрашнего утра.

— Отлично! Нам как раз нужно поговорить об одном важном деле, даже о двух.

На Эмме были длинная шинель, которая, очевидно, мало его грела, сапоги. Единственной по-настоящему зимней вещью на нем была меховая шапка. На похудевшем лице роговые очки казались еще больше.

— Я только что закончил поэму, — сказал он.

— Какую?

— Помнишь, отрывки из нее я читал на обеде у Шпитальников?

— Помню.

— Почитать тебе конец?

Я видел — он весь целиком еще под впечатлением законченной работы.

— Читай, — сказал я.

«Арман Вато?» — «Чего он хочет?
Что обо мне здесь говорят?»
«Он знает вас и видеть рад», —
Сказал французу переводчик.
Гигант — светловолос, могуч —
Приблизился, шагнул навстречу.
Облиты солнцем шея, плечи,
Улыбка яркая, как луч.
И руку — темную ладонь —
Вато пожал. Как быть иначе
С рукой протянутой — горячей,
Впитавшей ветер и огонь...

Эмма говорил не очень громко и слегка заикался, как всегда, когда бывал взволнован. В морозном воздухе четко отдавалось каждое слово.

И гид, волнуясь, объясняет:
«Страну, рожденную в штормах»,
Он эту вашу книгу знает
И восхищен — какой размах!
В тот страшный час, когда заря
Едва вставала, тьмой одета,
Вы верили в рождение света
И в нового богатыря,
И руку вам он жмет за это.
Ведь вы стояли в этот миг
У богатырской колыбели,
Вы все понять тогда сумели
Как добрый друг, как большевик».

Эмма умолк. Некоторое время мы шли молча. Потом он сказал:

— Понимаешь, в чем суть: мы, советские люди, всегда готовы делать все, что необходимо в интересах страны, в интересах революции. Нам ничего не трудно во имя победы наших идеалов. При этом мы верим, что другие люди, если, конечно, они не враги, готовы на то, что и мы. И эту-то веру я считаю одним из наших достоинств, об этом и хочу сказать в поэме. Известный французский журналист Арман Вато когда-то написал книгу, проникнутую симпатией к нашей стране. Но с тех пор прошли годы. Человек изменился. А «светловолосый великан», который помнит его давнюю книгу, продолжает считать Вато нашим, большевиком. Но если так, рассуждаю я, то вера эта из достоинства превращается в недостаток,

так как не всем, выходит, можно верить? Но если так, я должен был бы иначе закончить поэму...

— А как ты ее закончил?

— Вот:

И вот взмывает самолет,
Летит, омыт голубизною.
Над той страной, где все земное
Кипит, бушует и цветет,
Где о комфорте нет и речи,
Где слово пошлое «покой»
Забыто навсегда, навечно.
А горизонт прозрачно-розов...
И журналист Вато рукой
Смахнул непрошеные слезы.

Когда в морозном воздухе растаял отзвук этих последних слов, Эмма пояснил:

— Встреча с советскими людьми, которые верят ему и считают его все еще таким, каким он был прежде, потрясает иностранного журналиста, он понимает, как низко пал. Отсюда и слезы раскаяния, которыми заканчивается поэма.

— Это вполне возможно, — заметил я.

— Ты так думаешь? — спросил Эмма и тут же добавил: — Ну, а если в действительности слез не было? Если этот оборотень теперь смеется над всем, что для нас свято, и без зазрения совести выполнит порученное ему черное дело, охаявая то, что когда-то славил? Тогда поэму надо закончить иначе... Как ты думаешь?

Я шагал рядом с Эммой и, по правде говоря, завидовал ему, по-доброму завидовал тому, чего сам был тогда лишен, — возможности разъезжать, встречаться с людьми, со многими из них завязывать дружбу, жить в мире своих творческих исканий, начинать и заканчивать новые вещи, постоянно думать о них.

Но об этих своих мыслях я Эмме ничего не сказал. Вместо этого спросил:

— Скажи, пожалуйста, Либкина ты хотя бы иногда видишь?

Он как-то удивленно взглянул на меня.

— Странно...

— Что странно?

— То, что ты сейчас спросил про Либкина.

— А что же странного?

— Дело в том, что я сам только что собирался сказать тебе о нем, хотел с тобой посоветоваться.

— О чем же?

— Да о нем, о Либкине. У него что-то совсем опустились руки. Не нравится это мне. Надо принимать какие-то срочные меры.

Тут Эмма рассказал мне о своих последних посещениях Либкина.

— Скажи, — заметил я, — не имеем ли мы тут дело с неким братом по крови твоего Армана Вато?

— В каком смысле?

— Ну хотя бы в смысле отчужденности от всего нашего, нежелания с нами знаться...

Эмма долго ничего не отвечал, затем сказал:

— Не думаю.

И немного погодя добавил:

— Причина, мне кажется, в другом, и вина тут не его, а наша.

— Наша?

— Да, и в первую очередь моя.

— В чем же?

— Я много об этом думал, — сказал Эмма, — и пришел к выводу, что в отношении к этому человеку мы допустили ошибку. Нельзя было подходить к нему с нашими мерками. Он ведь из другого мира, воспитывался в другом обществе. А мы хотели, чтоб он сразу же стал нашим. Разве это делается так быстро? Нужны время, выдержка, да и терпение тоже. Мы слишком нетерпеливы и, вместо того чтобы приблизить человека, оттолкнули его. А это проще всего. Каждый, особенно одаренный, человек, который может быть поставлен на службу нашему делу, важен для нас, за него надо бороться!

— Ты разве мало за него боролся? — возразил я.

— Значит, мало! — решительно произнес Эмма. — Но еще не поздно поправить дело... Хочешь, давай сейчас зайдем к нему?

— Так поздно?

— Говорю тебе — ни в каком смысле еще не поздно. Пошли!

Медленно, на ощупь мы поднимались по широкой деревянной скрипучей лестнице на второй этаж.

Я подумал о том, что поднимаюсь сюда впервые после того памятного весеннего вечера, когда Эмма познакомил нас с только что приехавшим тогда Либкиным. Всплыла вся приподнято-праздничная атмосфера того

вечера. Вспомнил, как Эммин гость восхитил тогда нас всех своей красивой внешностью, манерами.

Эмма шел впереди меня. Я полагал, что он постучит, мы подождем, пока нам откроют, но он сразу же толкнул дверь, как если бы та вела в пустое, необитаемое жилище. Я последовал за ним.

В комнате было темно и холодно, как на улице. На нас дохнуло застоявшейся затхлостью.

Эмма куда-то исчез, и в следующее мгновение я увидел его в другом конце комнаты — у выключателя. Покрытый густым покровом пыли, неопределенного цвета абажур струил какой-то слабый, немощный свет на самую середину пыльного стола, не достигая его краев. Комната утопала в затхлом мраке, и только два окна без занавесок холодно поблескивали слепыми, замороженными бельмами стекол.

«Да есть ли тут живая душа?» — подумал я и хотел уже спросить об этом у Эммануила, но тут я заметил, как он усиленно всматривается во что-то в правом углу. Я тоже взглянул туда и, когда глаза мои немного свыклись с темнотой, различил в углу низкую широкую тахту под тяжелым ковром. Но что это — или мне показалось? Поближе к изголовью ковер как будто топорщился. Я шагнул было к нему и тут же в ужасе отпрянул — в этом гнетущем полумраке из-под ковра уставился на меня живой человеческий глаз, уставился прямо, не мигая... Я глянул в сторону Эммы: видит ли это и он?

Он видел.

— И что же дальше? — услышал я его голос. Слова эти были произнесены негромко, но в напряженной тишине комнаты они прозвучали, как выстрел. — Что же дальше? — повторил он.

Ковер слабо зашевелился, глаз под ним моргнул.

— Либкин, — склонился я над ковром, — что вы делаете с собой, Либкин?

Эмма:

— Никаких вопросов, мы пришли дело делать! — И с этими словами он резким движением сорвал с тахты ковер.

Либкин, лишенный покрова, остался лежать, как и лежал, в одежде, подогнув колени и с просунутыми между ними руками.

— Вставай, Шолом! — тронул его Эмма за плечо.

Тот неловко зашевелился, неожиданно сел и так и

остался сидеть с засунутыми между колен руками. Его бил озноб.

Я смотрел и думал: куда все девалось — прекрасная внешность, манеры, апломб? Свалявшиеся волосы на голове, запущенная, косматая борода.

— Что вам нужно? Кто вас звал? Идите!..

Эмма, присев на тахту, тихо сказал:

— Шолом, когда я уступил тебе квартиру, думал — будешь в ней жить, работать. А ты, смотрю, умирать собрался? Так не пойдет. Хозяин здесь я, я же и буду командовать.

— Глянь, пожалуйста, в порядке ли печь, — обратился Эмма ко мне и тут же исчез из комнаты.

Не успел я отворить заслонку, которая не так-то легко поддавалась, и посмотреть, все ли в печи в исправности, как Эмма уже был тут с большой охапкой дров. С веселым грохотом бросил он ее к ногам, и мерзлые поленья звонко разлетелись по полу. Свежо запахло березой, сосной.

— Затопишь? — спросил Эммануил.

— Спички есть?

Он кинул мне коробок и снова исчез.

Дрова оказались сухими. Нарубив щепок, я поджег их, для начала засунул несколько поленьев потоньше, а когда они разгорелись, добавил других, потолще. К возвращению Эммы в печи уже полыхало, а на темном полу весело плясали яркие отблески огня.

— Это я понимаю! — радостно воскликнул Эмма, выкладывая какие-то свертки. — Еще минута — и я бы опоздал! Магазин уже закрывали, но, к счастью, продавщица молодая, знакомая. «От тебя, — сказал я, — зависит жизнь человека...» И вот...

Стерев пыль со стола, Эммануил расстелил газету и переложил на нее хлеб, масло, колбасу, консервы, печенье.

— Хотел было прихватить и вина, но решил, что сегодня пить не стоит, — повернулся он к Либкину. — Сегодня закусим, а выпьем завтра, хорошо?

Либкин сидел все в той же неподвижной позе, с выражением полной отрешенности, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения.

— Не хочу, — глухо пробормотал он. — Ничего не хочу...

— Ну, как знаешь, — ответил равнодушным тоном Эмма. — Я же проголодался, как волк. Как ты? — спросил он меня.

— И я.

Эмма нарезал хлеб, колбасу, открыл консервы, и мы вдвоем принялись за еду.

Либкин какое-то время продолжал еще неподвижно сидеть на тахте. Затем, бросив едва уловимый взгляд в нашу сторону, поднялся, подошел к столу, протянул руку. Спустя мгновение он уже без разговора совал в рот все, что попадало, роняя крошки в растрепанную бороду. Насытившись, он, точно пьяный, шатающейся походкой подошел к печке, прислонил к ней обе руки, затем весь приник к нагретой стене и, блаженно улыбаясь, выдохнул:

— Тепло...

Мы еще немного посидели, затем Эмма поднялся.

— Ну вот, Шолом, мы уходим, — сказал он. — Когда в печке все выгорит, закрой вьюшку. Но смотри, не делай этого слишком рано, можешь угореть.

Либкин не ответил, но во взгляде его что-то как бы засветилось.

— А с завтрашнего дня, — сказал Эмма, стоя уже в дверях, — начинается работа. Для начала программа немалая: баня, парикмахерская, столовая. Будешь топить печь. Видал, как это делается? Так вот, с завтрашнего дня будешь это делать сам утром и вечером. Я договорюсь с женщиной, она тут приберет. Спокойной ночи, Шолом!

Либкин не отвечал. Он все еще стоял, прислонясь к печке, глаза его были прикрыты, а в косматой бороде среди застрявших крошек потерялась какая-то блаженная, почти детская улыбка...

Спустя некоторое время мы с Эммой вновь посетили Либкина. Ни комнаты, ни его нельзя было узнать. Абжур без единой пылинки, — он оказался ярко-оранжевого цвета, — словно сквозь позолоченный фильтр струил ясный свет. Тахта аккуратно была укрыта вычищенным ковром. На темных, оттаявших окнах белели свежие занавески. Либкин, чистый, опрятный, с подстриженными бородой и усами, приобрел свой прежний, осанистый вид. Он только был бледен и худ, как человек, перенесший тяжелую болезнь и чудом от нее исцелившийся.

На столе стояли вино и закуска. Мы немного выпили.

У Либкина влажно поблескивали глаза. Он говорил много, желая, очевидно, наговориться и за то время, что лежал в одиночестве в холодной, запущенной комнате.

— А ведомо ли вам, братцы, — сказал вдруг Либкин, — что когда вы в тот памятный вечер зашли сюда, ко мне, в эту стужу и мрак, и ты, Эмка, сказал, что уступил мне квартиру не для того, чтобы в ней умирать, — знаете ли вы, что я к этому был тогда весьма близок...

— К чему к этому?

— Да к тому самому, чтоб перебраться к праотцам... Я было вовсе уже и собрался...

— Я видел, что ты к этому близок, — ответил Эмма, — но что ты собрался, такое не могло прийти мне в голову.

— Представь — собрался.

— Ну и дурень!

— Возможно, но это было именно так.

— Что же, тебе жизнь надоела, что ли? — Эмма бросил на Либкина уничтожающий взгляд. — Гляди на детинушку, отец с матерью породили его на сто лет, не меньше, а он? Представляешь хотя бы, сколько ценного материала мать-природа потратила на тебя? С избытком хватило бы на трех добрых молодцов, которые бы честно трудились весь век, не предъявляя миру никаких претензий...

Эмма встал, прошелся по комнате и вновь остановился перед Либкиным.

— А ты скажи-ка, будь добр, скажи мне: кто, собственно, дал тебе такое право — распоряжаться своей жизнью? Одному тебе принадлежит она, что ли?

— Ты знаешь, — саркастически усмехнулся Либкин, — до сих пор я думал, что она принадлежит мне и никому больше... Или я ошибался?

— Еще как ошибался!

— Почему же?

— Потому, что моя жизнь, твоя жизнь, его жизнь, — Эмма указал на меня, — принадлежит не только нам самим.

— Кому же еще?

— Миру, вечности, кому хочешь, но только не нам самим. И каждый из нас... — Эмма говорил горячо и, как всегда в таких случаях, слегка заикался, — каждый из нас п-прежде всего об-бязан внести свою лепту в общее дело, а п-после того уже, после...

— Что — после?

— После того как он внесет свою лепту, он может думать о чем угодно, и о смерти тоже...

— Какую же лепту должен он внести? — спросил Либкин.

— А это уже, — спокойнее ответил Эмма, — зависит от того, кто на что способен. Один даст миру дюжину сыновей, другой вырастит хлеб, третий посадит деревья, четвертый напишет книгу, пятый создаст симфонию, шестой...

— Вот-вот... — перебил его Либкин.

— Что «вот-вот»?

— Как раз поэтому вот Шолом Либкин и собрался к праотцам...

— Тут уж я совсем ничего не понимаю! — воскликнул Эмма.

— А это не так легко понять, — заметил Либкин. — Поэтому я предлагаю: давайте выпьем еще по рюмке.

— Но ты этим не отделаешься, ты объясни сначала...

— Я же говорю: выпьем, а там, глядишь, кое-что и прояснится...

— За жизнь! — воскликнул Эмма.

Либкин долго просидел с опущенной головой, затем взглянул на нас каким-то просветлевшим взглядом и сказал:

— Хочу одного: чтоб вы меня правильно поняли. Возможно, это вам нелегко, вы мыслите другими категориями. Но попытайтесь хоть на минуту представить себя в положении человека, который воспитан в других условиях, в других традициях — в традициях, которые вам, может быть, чужды, но там, на Западе, миллионами людей еще не отвергнуты, и, вероятно, они еще долго будут существовать. Вот ты, Эмма, говоришь, что моя жизнь принадлежит не только мне — она принадлежит будто бы всем, следовательно, все должны как-то вникать в мою жизнь, а я в свою очередь должен интересоваться жизнью других. Ты мыслишь вашими категориями — коллективизм, интернационализм. Но там, откуда я к вам пришел, моя жизнь — только моя и ничья больше. Кому какое там дело до тебя... Поступай со своей жизнью, как тебе заблагорассудится. Вот ты еще говоришь о том, что каждый должен внести свою лепту в общее дело. А там каждый думает наоборот — как бы урвать побольше для себя, для себя одного лишь... Вы здесь все стремитесь побольше сделать, создать, совер-

шить, а там, вы понимаете, там стремятся к тому, чтобы не делать, по возможности ничего не делать. Иметь как можно больше, а делать как можно меньше. Таково общество...

— Общество наизнанку, — отозвался Эмма, — общество, в котором все шиворот-навыворот...

— Да, — согласился Либкин, — но это общество, не забывай, постарше того, которое вы создаете здесь, и отмахнуться от него нельзя, надо с ним как-то считаться, не так ли?

— Ты прав, — сказал Эмма, — считаться надо. — И, помолчав, добавил: — А возможно, с ним придется еще и воевать...

— Возможно, — ответил Либкин. — И вот представьте себе: человек из того общества «наизнанку», как ты говоришь, попадает к вам. На первых порах он думает, что и тут сможет жить так же, как жил там. Но из этого ничего не получается, и не получается потому, что даже воздух здесь иной и этим воздухом ему нелегко дышать. На каждом шагу его подстерегают неожиданности, так как здесь другие мужчины, другие женщины, другие девушки... И ни к кому из них у него нет ключа. А ключи, которые он привез оттуда, не подходят... И главное — здесь царит атмосфера деятельности, труда. Все без исключения заняты делом. Хотел заняться и я, но... одного желания, очевидно, недостаточно. Оказалось, что я ничего не умею делать и не умею потому, что не привык делать, вернее — я привык не делать...

Либкин умолк. Мы с Эммой переглянулись.

— Живя среди вас, — продолжал Либкин, — и наблюдая, как каждый из вас делает что-то важное и полезное для себя и для всех, я спросил у себя: ну, а ты, Шолом, ты, бездельник, ты, недотепа, ты, горемыка, на что способен ты? Что ты можешь? Ничего? Тогда ложись и умирай... И вот я и собрался...

Либкин умолк. И мы с Эммой молчали. Только слышно было, как в пылающей печи потрескивают дрова.

— Помнишь, Эмка, — начал опять Либкин, положив на место нож, которым до сих пор играл в руке, — ты несколько раз заходил сюда, ко мне, хотел поговорить, предлагал помощь, а я тебе — ни слова в ответ? Ты не понял тогда причины. А причина была в том, что я вынес уже себе тогда приговор и ждал смерти. Ты помешал мне...

— Да, я ничего не понимал тогда, — сказал Эмма, — но такое и понять-то трудно. — И, устремив на Либкина серьезный взгляд, добавил: — Ты тут у нас напорол, Шолом, немало глупостей. Однако самой большой глупостью было подумать, что мы тебе дадим умереть...

Он наполнил рюмку.

— За здоровье!

Мы выпили.

Влажно поблескивая глазами, Либкин сказал:

— Как мало нужно для воскресения из мертвых: хорошо натопленная печь и добрая баня...

— Но ты совершишь ошибку еще бо́льшую, — заметил Эмма, — полагая, что, воскреснув из мертвых, ты сможешь жить так, как жил до того...

— Это-то я понимаю, — серьезно ответил Либкин, — но что же мне делать?

— Только одно, — ответил Эмма, — дел а т ь, ра б о т а т ь...

Играя пустой рюмкой, Либкин задумчиво заговорил:

— До чего все странно... Лежу я здесь, на тахте, холодный, голодный, а в голове все равно фантазия за фантазией... и возникают герои новых вещей, хватит их на роман, да не на один... Хотите, кое-что расскажу...

Либкин потянулся к бутылке, но Эммануил остановил его:

— Хватит! Сегодня, думаю, больше пить не будем... А по поводу того, Шолом, что ты хочешь рассказать нам, скажу тебе вот что: не надо. — Эмма повернулся ко мне; — Правда ведь, не надо? И вообще, давай отныне и впредь договоримся: мы не выслушаем ни одного твоего слова, коль речь пойдет о каком-нибудь творческом замысле, пока он не будет изображен черным по белому на бумаге. Не смотри на меня так. Твоими устными историями мы сыты по горло... И знай, Шолом, ты растерял среди нас всех своих бывших приверженцев. С сегодняшнего дня мы будем верить только тому, что будет написано пером...

— Ах, пером? — повторил Либкин.

— Да, и вот уговор, — Эмме в голову пришла идея, — мы даем тебе неделю. Хватит тебе недели?

— На что?

— Ровно через неделю мы придем сюда снова, и ты нам прочтешь...

— Что я вам прочту?

— Что захочешь. Это может быть эссе или новелла, глава из рассказа или романа, но главное условие — чтоб черным по белому. Идет?

— Но что это за посягательство на свободу личности! — воскликнул Либкин, комическим движением вознося руки к потолку. — Заступитесь, о боги!..

— Некоторых личностей, — ответил Эмма, — только так и заставишь сделать что-то путное. Потом они же и поблагодарят. А сейчас — на улицу, подышать морозом!

— Что-то не хочется, — стал отнекиваться Либкин.

— Пошли! — настаивал Эмма. — Проветрись хорошенько! Проветри мысли. Дальневосточный мороз имеет чудесное свойство: пустые, ничтожные мысли он вымораживает в два счета, так, что от них не остается и следа. Зато уж те мысли, которые способны перед ним устоять, они-то уж чего-нибудь стоят...

Мы вышли втроем на улицу. Под ногами громко скрипел снег. В небе висела полная луна.

Дойдя до единственного в городе трехэтажного здания, где помещались областной комитет партии и областной исполнительный комитет, мы повернули обратно и зашагали вниз, к Октябрьской улице.

— Вот ты, Шолом, — обратился к Либкину Эммануил, — говорил об обществе там, на Западе, о том, что оно постарше нашего. Это-то ничего, оно старше своей культурой, цивилизацией, и это нам пригодится. Хуже, однако, то, что общество это просто старо, оно одряхлело, его одолевают все старческие болезни, которыми оно пытается заразить и нас...

Эмма задумался. Потом тихо проговорил:

Нежное человеческое тело будет еще трепетать
В месиве из грязи и крови...

— Что это, — спросил я, — ты вспомнил вдруг Шварцмана?

— Не вдруг, — ответил он и, как бы следя за своими собственными, невысказанными мыслями, добавил: — Много накопилось грязи на земле. Человечество прольет за это еще немало крови...

За роговыми очками печальный взгляд Эммануила был полон решимости, как у человека, заранее готового к чему-то большому и важному.

— Могу доложить, — сказал вдруг Либкин, — что мо-

роз не только вышиб у меня из головы все несобящие мысли, но и принялся за меня самого...

— Коль несобящие мысли вышиб мороз, — сказал Эмма, — можешь идти.

Мы проводили Либкина до дома. Когда его шаги на скрипучей лестнице затихли, Эмма предложил:

— А мы еще немного пройдемся?

— Конечно!

— До моста?

— Пошли!

Луна щедрым холодным светом поливала сопку по ту сторону моста, затихший на морозе город, тонкие контуры далеких возвышенностей.

— Ты только взгляни, что за ночь! — восхищенно сказал Эммануил, заглядевшись на луну.

Затем спросил:

— Как ты думаешь, с чего я это уставился на луну?

— Наверное, было у тебя что рассказать ей...

— Нет, на сей раз она рассказала мне.

— Что?

— Угадай!

— За это не берусь. С луной у каждого свои тайны...

— Так вот — с ее высоты ей все видно, и говорит она мне: «На земле, знаю, еще много нечисти и тьмы. Но света ясного — запомни это! — все же больше...»

— Так и сказала?

— Да, этими словами...

— Верю!

— Верь!

Мы попрощались. Сильной своей худощавой рукой Эмка крепко сжал мою руку и одновременно и весело и серьезно глянул на меня из-под очков.

Улица, город — все вокруг светилось в холодной, прозрачной ясности...

1968—1973





**НА ПОЛНОМ
ХОДУ**







1. У окна

За Байкалом, из-под высокого нагромождения заснеженных скал, круто сомкнутых над длинным туннелем, со стальным грохотом вырвался экспресс и помчался вдоль отвесных горных уступов. Вслед за последним вагоном долго взлетал еще поднятый стремительным движением снежный вихрь.

В каменном безмолвии, гордые, надменные в своей неприступности, застыли горы, ничего не ведая о том, что из прорубленных в них туннелей вырываются поезд за поездом и победным гулом оглашают все вокруг. Словно нехотя, ленивым эхом, горы множили этот гул и снова застывали в снежном безмолвии.

В одном из вагонов в середине поезда жизнь протекала так, как она уже успела установиться за те несколько суток, что пассажиры находились в пути. Длинный вагонный коридор был пуст. Лишь у крайнего к выходу окна стояли плотный высокий мужчина с льняными, зачесанными вверх волосами и совсем юная на вид, в темных кудряшках, девушка — капитан Лаутин и выпуск-

ница одного из московских фармацевтических техникумов Надя Симонова, направлявшаяся на работу на Дальний Восток. Она впервые ехала в этих местах, ей все здесь было внове, интересно и немного страшно...

Поезд круто повернул, и девушка в испуге отшатнулась.

— Качает? — улыбнулся Лаутин и поддержал ее за руку. На смуглом запястье ее заметив плоский кружок часов, спросил: — Стоят?

— Что вы!

— Бегут?

— Не выдумывайте!

— Но они показывают странное время...

— Ах, — улыбнулась Надя, — это еще московское.

— Но мы уже четвертые сутки в пути.

— В Хабаровске сразу переведу их на все семь часов вперед. А сколько теперь?

— Десять.

— Большой станции не предвидится?

— Как будто нет. Что вы читаете? — показал он на книгу в ее руке.

— Взяла здесь, в поездной библиотечке. Герман Титов...

Из полуоткрытых дверей их купе то и дело доносился громкий стук костяшек — там без устали «забивали козла». От него целыми часами и спасались Симонова и Лаутин здесь, у окна. То молча, а то беседуя, они все время не отрывали глаз от проносившихся мимо бесконечных зимних пейзажей.

— Вы не заметили, — сказал Лаутин, — немного ранее тут промчался бухгалтер Гнезин из восьмого купе, — злой — страшно!

— Не заметила, — сказала Надя. — Не могу оторваться от окна. Что за чудо, смотрите... Гнезин, говорите? Такой же злой, как вчера?

— Что вы, еще злее!

— Опять, наверное, к начальнику поезда? И все с той же просьбой — чтоб заменили купе? Не надоест же человеку...

— В пятом вагоне, я слышал, он нашел коллегу, такого же холостяка, как и он...

— А Зинаида Семеновна не показывалась?

— Что вы! В такую рань?

— И Мира Ефимовна не появлялась? Как она себя чувствует? Вчера она выглядела неважно. Даже опасались...

— Напрасно. Раз Вася Петров там, — усмехнулся Лаутин, — беспокоиться нечего...

— Знаете, — повернулась Надя к нему, — первые дни я думала, что Петров не случайный сосед по купе, думала — муж. Он так внимателен к ней, так заботлив. Должно быть, трудно ей ехать в таком положении одной...

— Ничего страшного! — уверенно заметил Лаутин. — Вот так, на полном ходу, оно всегда лучше.

Пассажиры в вагоне за несколько дней пути уже успели между собой перезнакомиться, многое друг о друге знали, о каждом имели свое мнение.

Восьмое купе сегодня, как всегда, было закрыто. В нем ехала беременная, на сносях, женщина — Мира Ефимовна Зильберг. Все в вагоне относились к ней уважительно, с каким-то особо бережным вниманием. Она ехала к мужу, инженеру-электрику, посланному полгода назад, после окончания института, на работу в Биробиджан. Сама она окончила педагогический институт, была учительницей. Довольно высокая, стройная и миловидная женщина, теперь она сильно раздалась вширь, несколько удлиненное лицо ее было обезображено пятнами. От этого она чувствовала себя на людях неловко и старалась как можно меньше выходить из купе.

Своеобразно шефствовал над беременной женщиной молодой, двадцатилетний гидролог Василий Петров. Ехал он до Хабаровска, с тем чтоб оттуда самолетом добраться до Камчатки, где недавно проходил практику и куда теперь направлялся на постоянную работу. К величайшей досаде Зинаиды Семеновны Зриной — второй женщины, ехавшей в том же купе, молодой, грациозной, жизнерадостной, гидролог ее как бы вовсе не замечал, все внимание уделяя беременной. То принесет ей из ресторана обед, то закроет дверь, чтоб не дуло, старался, чтоб ничто не мешало ей.

Мира Ефимовна подолгу лежала на своей нижней полке, а когда надоедало и трудно становилось лежать, присаживалась к окну. Полной белой рукой в широком рукаве шелкового халата опершись о столик, тихий, внутрь себя устремленный взгляд больших черных, и в теперешнем положении, красивых глаз долго не спуска-

ла она с мчащихся мимо заснеженных зимних просторов...

Зинаида Семеновна редко бывала в купе. Здесь ее одолевала скука. Чаще всего она проводила время в других вагонах; особенно в том, где ехал инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Целыми днями тут играли в преферанс. К себе она возвращалась поздно вечером, а утром долго не могла разомкнуть глаз.

Четвертым соседом в купе был главный бухгалтер крупного предприятия Лев Маркович Гнезин, который возвращался из ответственной командировки. Это был человек лет сорока с лишним, с большой огненно-рыжей бородой. Все в вагоне уже знали, что этот закоренелый холостяк никак не может примириться со злой шуткой, которую сыграл с ним билетный кассир в Москве (а может, и сама судьба?), поместив его в одно купе с женщиной на сносках, которая того и гляди может еще, как он говорил, «рассыпаться» у него на глазах...

Лев Маркович целыми днями просиживал в другом вагоне, где ехал такой же, как и он, холостяк, заведующий сберегательной кассой, с которым они случайно познакомились. Сегодня с утра он снова подался к своему коллеге, а заодно и к начальнику поезда — в который раз просить перевести его на первое освободившееся в поезде место.

Широко и плавно покачивало на ходу вагон. Морща широкий красноватый лоб, Лаутин неустанно думал о той новой ответственной работе, в связи с назначением на которую его вызывали в Москву. Возвращался он отсюда со множеством новых планов, которые обдумывал в пути.

— Гляньте, что на нас надвигается! — испуганно воскликнула Надя.

В вагоне сразу стало темно от плотно придвинувшейся к жалобно задребезжавшим окнам огромной каменной массы.

— А вы поглядите вверх, — сказал Лаутин.

— Но я там ничего не вижу.

Свою большую, в крупных веснушках руку Лаутин положил на узенькое плечо девушки и повернул ее так, чтоб и она увидела.

— Здесь по-настоящему страшно! — вздрогнула Надя.

В вагоне опять уже было светло, а она все еще не

могла отделаться от ощущения, что огромная гора, низко нависшая над мчащимся поездом, вот-вот рухнет и раздавит их... Как бы ища защиты, она по-детски приткнулась к мощному плечу Лаутина.

— Здесь по-настоящему страшно, — повторила она, — и, пожалуй, опаснее, чем лететь, не так ли?

— Почему же? — спросил он.

— В самолете вы ведь не рискуете, что такая вот горища вдруг свалится на вас?

— А самому свалиться на нее, вы думаете, слаще?

— Разве такое бывает? — спросила Надя.

— Если допускать, что может упасть гора, — рассмеялся он, — то с человеком это может случиться подавно...

— А с вами случилось?

— Ну, нет, а то как бы я теперь разговаривал с вами? С горами живу пока в мире. Скорее гляньте вверх, направо!

— Сосны! — воскликнула Надя.

— А гору узнали?

— Неужто та самая?

— Ну да.

— Не верится...

Поезд мчался уже довольно далеко от той горы, которая раньше своей грозной близостью так напугала девушку. Теперь гора темнела в отдалении, четко выделяясь на светлом фоне неба со всеми своими островерхими скалами. На самой высокой из них росли три стройные сосны.

— Вы боялись, что гора упадет на нас, — сказал, смеясь, Лаутин, — а сосны вот — те не боятся.

Симоновой стало неловко, она хотела что-то сказать в свое оправдание, но в эту минуту поезд с внезапным грохотом надолго поглотил туннель и стало темно. А потом, когда туннель кончился и их снова залило ярким светом, в открытой двери восьмого купе они увидели Миру Ефимовну. Та стояла с полотенцем и мылом в руках. Не успели они с ней поздороваться, как новый туннель сомкнул над поездом свою темную пасть.

— Мира Ефимовна, не ходите! — крикнула в темноте Надя.

— Жду, жду, — слышался глухо, как из пропасти, ответ.

— Смелая женщина, — сказала Лаутину Надя.

Пока тянулся туннель, оба они думали о новой жиз-

ни, которую та несла в себе и которая, еще не появившись на свет, совершала уже свой первый далекий путь...

Полный неистового, ликующего восторга, экспресс вырвался наконец из туннельного мрака и помчался в слепящем блеске бескрайних, залитых щедрым солнцем снежных просторов.

2. Телеграмма

Еще на станции Красноярск, где поезд долго стоял, в восьмое купе внесли телеграмму.

Мира Ефимовна и Зинаида Семеновна, сидя напротив друг друга, беседовали. За телеграммой обе женщины потянулись сразу, но когда проводник назвал фамилию Зильберг, Зинаида Семеновна отвернулась. На лице ее отобразилось легкое разочарование, хотя телеграмм она ни от кого не ждала.

— Надо же догадаться, — заметила она, — телеграфировать в поезд! Кто у вас такой догадливый?

Мира Ефимовна не ответила. Она побледнела, и пятна на лице ее выступили заметнее. Телеграфный бланк дрожал в ее похолодевших пальцах, она боялась его раскрыть. «Вдруг что-нибудь с мамой?» — подумала она. В день ее, Мириного, отъезда у мамы подскочило давление.

— Да не томите же вы себя! — воскликнула Зинаида Семеновна.

Мира Ефимовна развернула бланк, с опаской заглянула в него и вдруг почувствовала, как кровь ударила в лицо и всю ее обдало жаром.

Лицо беременной женщины порозовело, полные, чуть припухлые губы растянулись в невольной улыбке, глаза влажно заблестели. Бессильно откинувшись к стенке вагона, она протянула телеграмму соседке по купе. Та близируко поднесла ее к глазам.

— Вот как! — сказала она и вслух повторила текст: — «Нетерпением жду люблю целую Миша». Это от мужа? — спросила она.

— Ну да.

Зинаида Семеновна помолчала, затем спросила:

— Он вас очень любит?

— Может быть, — уклончиво ответила Мира Ефи-

мовна, но по счастливому выражению ее глаз видно было, что она в этом не сомневается.

— Выезжая из Москвы, — сказала Мира Ефимовна, — я телеграфировала ему номер поезда, вагона, купе, так что все это ему известно.

— Это известно и моему мужу, — ответила Зинаида Семеновна, — однако же не догадался.

Тень разочарования исказила и сделала на миг лицо ее каким-то безобразно-несчастливым. Мире Ефимовне стало жаль соседку по купе. Она хотела сказать ей что-то утешительное, но тут постучали.

— Войдите!

На пороге стоял инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Аккуратные черные бакенбарды и темная ниточка усов оттеняли матовую бледность его мужественного лица.

— Как вам нынче спалось? — галантно обратился он к обеим женщинам и тут же повернулся к Зинаиде Семеновне: — Я по вашу душу, Зиночка...

— Ах, значит, нужна вам только моя душа? — игриво воскликнула Зинаида Семеновна.

— И конечно же, — еще галантнее ответил Вадим Петрович, — прекрасная оболочка, в которую душа эта заключена...

— Не говорите пошлостей, Вадик, — небрежно бросила Зинаида Семеновна, раскрывая пудреницу.

Мира Ефимовна была поражена мгновенным преобразованием соседки. Куда девался несчастный вид, который еще минуту тому назад почти обезобразил ее лицо? С появлением Вадима Петровича серо-голубые глаза ее распахнулись, зрачки расширились, и Зинаида Семеновна вся как бы изнутри засветилась.

Пока она пудрилась, слегка подкрашивала губы, Вадим Петрович без умолку говорил:

— Пришел я сюда, Зиночка, от всего нашего купе да еще от двух мужчин из соседнего. Все мы ждем вас. Без вас никак не начнем...

— Чего?

— Завтрака и преферанса.

— Можно подумать!

— Уверяю вас, Зиночка, — продолжал он, — да и вам самой это прекрасно известно, в нашем купе и в соседнем, — да что я говорю, во всем вагоне едут одни ваши поклонники...

— Так уже во всем вагоне? Ну, а вы, Вадик, вы сами тоже в их числе?

— Помилуйте! — воскликнул он. — Не случайно ведь по вашу душу каждое утро прихожу я...

Зинаида Семеновна встала. Высокая, стройная, в голубых брюках, в белоснежной кофточке, она была обворожительна. Горделиво вскинув голову с льняными, по последней моде причесанными волосами, сказала:

— Мира Ефимовна, прошу вас: как только появится Эрнест Валерьянович из четвертого вагона, пожалуйста, скажите ему, что мужчины из третьего вагона, — она кокетливо глянула на Вадима Петровича, — похитили меня. Так и скажите: никуда не собиралась, но пришли и похитили... Хорошо?

— Но Эрнест Григорьевич будет в претензии на меня — почему допустила, — возразила Мира Ефимовна.

— В вашем положении не так уж трудно оправдаться, — заметила Зриина.

— А вам, Зинаида Семеновна, везет, — улыбнулась Мира Ефимовна, — мужчины охотятся за вами...

— Что же, — стоя в дверях, отпарировала Зинаида Семеновна, — не то что вы, которая получает прямо в поезд телеграммы от одного-единственного Миши...

Они вышли. Оставшись в купе одна, Мира Ефимовна задумалась. Сколько людей — столько характеров. Вот хотя бы Зинаида Семеновна. Она все просит звать ее Зиной, но как-то язык не поворачивается, ибо та сама все время величает ее по имени-отчеству, как будто была намного моложе. А в сущности, они почти одного возраста. Разве что беременность придает ей, Мире, излишнюю солидность? Возможно. Так вот, Зинаида Семеновна, Зиночка. Она едет к мужу. Он лейтенант, служит на границе, на одной из дальневосточных застав. Поженились года два тому назад. Познакомились в Сочи. «Нас обручило море», — рассказывала Зиночка. И вот как это произошло. Оба хорошие пловцы, они однажды заплыли далеко. Оглянулись — все давно поотставали и никого вокруг нет. С радостью победителей в этом никем не объявленном состязании, они, незнакомые, друг другу улыбнулись и вместе поплыли обратно. Устав, рядом отдыхали, покачиваясь на спинах. «Небо голубое, — рассказывала Зиночка, — море тоже, и среди беспредельной голубизны — мы... И все вокруг, и мы сами насквозь пронизаны солнцем...» Он там же, в воде, протянул руку,

она дала ему свою... Было хорошо. Вместе поплыли к берегу. Плыли медленно, не торопясь, а из воды вышли как бы уже навек обрученные, с ясным сознанием, что друг без друга им на земле не жить...

Вскоре после курорта у Зининых родителей в Москве справили свадьбу, и молодая чета уехала на далекую пограничную заставу, где служил лейтенант. Тут приезд его с молодой женой всех радостно взбудоражил. Их поздравляли. Зиночка всех восхитила своей красотой и талантом — она хорошо исполняла модные эстрадные песни и сама себе аккомпанировала на рояле. Неженатые офицеры, рассказывала Зина, завидовали ее Вите и — это видно было по их глазам — все поголовно в нее влюбились... «И женатые тоже, — добавила она. — Жены у них все, как на подбор, были какие-то курносые простушки, которые одно только и знали — рожать...»

Один женатый офицер, отец двух девочек, пытался даже завести с Зиночкой флирт. «Был он, — рассказывала она, — статен, красив». — «Красивее вашего Вити?» — спросила Мира. «Не то чтобы красивее, — ответила Зина, — но в нем было что-то такое... Вы понимаете, что-то такое, что невольно к нему влекло...» — «Ну, и?..» — «Ну, и о чем могла идти речь на заставе, где каждый дюйм земли просматривается? Мы пару раз с ним встретились, просто так, чтоб поговорить. Он меня об этом умолял, почему же не пойти навстречу?» — «И что же?» — «Ничего. Нас засекли, — рассказывала Зиночка, — и вскоре этого офицера перевели на другую заставу». — «А муж?» — спросила Мира. «Витек? Он так в меня влюблен, что ничего не заметил...».

Зиночке вскоре наскучило на заставе: «Каждый день одно и то же: наряды и тревоги, наряды и тревоги...» А она привыкла к широкой жизни в Москве, к театрам, концертам, многочисленным друзьям. Уехала к родителям на пару месяцев, устроить кое-какие дела, а оставалась больше года. Витек посылал письмо за письмом, звал к себе, а она находила все новые отговорки, пока он не прислал ультиматум: или она возвращается к нему, или развод. И вот она едет к мужу на заставу. Мира спросила, был ли ребенок. «Я сделала аборт, — ответила Зина. — Для этого и ездила в Москву...»

Аборт... Как легко она произнесла это слово, будто так и надо... Мира внутренне содрогнулась. Могла бы так поступить и она? Нет, не смогла бы...

Бесконечные снежные равнины, небольшие, темнеющие у горизонта селения все мелькали, убегая назад, а поезд в стремительном движении выстукивал в непрерывном беге колес: вперед... вперед!..

Слово это неустанно звучало в ее ушах, стучало в сердце, наполняло собой всю, а также и то существо, что жило уже внутри нее и время от времени давало знать о себе нежными настойчивыми толчками... Она положила руку на живот, чуть надавила его ладонью и под затрепетавшими пальцами сильнее ощутила эти толчки... Был бы Миша тут, она и его руку положила бы себе на живот — пусть и он почувствовал бы, как бьется в ней новая жизнь, их жизнь... Но Миша тут, вот его телеграмма... Как бы опасаясь, что она каким-то невероятным образом может исчезнуть, Мира быстро схватила ее со столика, поднесла к глазам, долго всматривалась в каждое слово, повторяя его губами. И вот ей уже слышится что-то новое в неумолчном беге колес:

«Люблю... целую... Миша...

Люблю... целую... Миша...»

Вот что теперь выстукивали колеса.

У нее закружилась голова, и она склонилась, почти упала на подушку.

3. В ресторане

Мужчины из восьмого купе — главбух крупного предприятия Лев Маркович Гнезин и молодой, двадцатишестилетний гидролог Василий Петров, или, как все его тут звали, Вася, — в вагоне-ресторане дожидались обеда. С ними был и знакомый Льва Марковича — заведующий сберегательной кассой Савелий Кузьмич. Заказ у них уже приняли, принесли пиво. Разливая его по стаканам, Лев Маркович, усмехаясь в огненно-рыжую бороду, сказал:

— Оказывается, собралось нас здесь трое холостяков! Что же, за вольное наше холостяцкое житье и предлагаю выпить! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно согласен! — с готовностью отозвался тот.

— А вы, молодой человек?

— Видите ли, — вскинув свои белесые вихры, с легкой усмешкой ответил Вася, — до меня не совсем дошел смысл вашего тоста, Лев Маркович.

— Как не дошел? — удивился тот. — Я предлагаю выпить за нашу мужскую свободу, за то, чтоб никогда не быть в повиновении у женских юбок и детских пеленок, ясно?

— Яснее ясного! — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Ясно-то ясно, — сказал Вася, — но не поторопились ли вы с зачислением меня в свою компанию?

— А что, — вскинулся Лев Маркович, — и вы совершили уже роковую ошибку, Вася? Вы женаты?

— Нет, пока не женат.

— Так что же, — с облегчением вздохнул Лев Маркович, — значит, вы такой же холостяк, как и я, как Савелий Кузьмич.

— Возможно, однако с небольшим оттенком, — сказал Вася.

— Каким?

— У меня все же есть еще некоторые шансы когда-нибудь перестать быть холостяком, а у вас их, по-видимому, нет...

— Но именно за это, — поднял свой стакан Лев Маркович, — я и предлагаю выпить — за отсутствие шансов! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно с вами согласен! — поднял тот свой стакан.

— А я все же выпью за те шансы, которые у меня еще есть, — сказал Вася.

Выпив, Лев Маркович смахнул пену с усов и, обращаясь к Петрову, сказал:

— Вы меня извините, Вася, но коль вы еще ищете шансы, то ищите, как я погляжу, не там, где следует.

— Как — не там?

— Сейчас поясню. Вот едем мы с вами несколько дней в одном купе. Мне вообще не повезло. Я со своим отношением к женщинам, детям и всему подобному угодил, видите ли, в одно купе с беременной женщиной, которая того и гляди рассыплется в дороге...

— Да, Лев Маркович, — усмехнулся Вася, — вам крупно не повезло. А что, начальник поезда все обещает?

— Был я у него и сегодня. «Как только что-нибудь освободится...» — говорит... Но это — одно дело. А вы все же, скажу я вам, очень странный молодой человек.

— Чем же?

— Чем? — Лев Маркович повернулся к Савелию Кузьмичу, с которым сидел рядом, и ему, а не Васе стал

отвечать на вопрос, который задал тот: — Понимаете ли, Савелий Кузьмич, с нами в одном купе едут две женщины, я вам уже о них рассказывал. Одна беременная, на сносях. Не знаю, в этих делах я мало компетентен, — возможно, в нормальном состоянии она и приятная женщина. Но теперь — бочка бочкой, лицо в пятнах, страх божий! А этот молодой человек, видите ли, усиленным образом за ней ухаживает. Не успеет она еще высказать пожелание, он уже его выполняет! А напротив беременной едет другая женщина — Зинаида Семеновна. Что вам сказать, таких вы можете увидеть в журнале мод, и только на первой странице! К ней паломничество из других вагонов, ее забирают на целые дни. А для нашего Васи она как бы не существует вовсе. Он и не смотрит в ее сторону...

Поведав все это Савелию Кузьмичу, Лев Маркович повернулся к Васе и, поглаживая бороду, спросил:

— Ну, скажите, не странно ли это?

— Странно, очень странно, — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Я моложе вас, друзья холостяки, — ответил Вася, — не могу и не берусь вас поучать, но что касается меня, я убежден: материнство — дело святое. И я преклоняюсь перед женщинами, которые готовятся к своему материнству так, как наша соседка по купе...

— Ну, а Зинаида Семеновна? — спросил Гнезин.

— Это героиня не моего романа, — отрезал Вася.

У стола остановилась официантка с подносом. В металлических высоких мисках исходил паром горячий борщ.

— Что вы заказали на второе? — спросила официантка. — Цыплят табака?

— Да, три порции.

— Нет цыплят табака. Кончились.

— Что есть?

— Свиные котлеты.

— И все?

— Все!

— Что ж поделаешь, — сказал Лев Маркович, и все принялись за борщ.

Первым разделался с ним Гнезин. Утирая бороду, он заметил:

— Котлеты принесут не скоро. Подоспела бы приличная станция, смогли бы еще полностью отобедать.

— Ну и чревоугодник же вы, Лев Маркович, — заметил Савелий Кузьмич.

— Да нет, — отмахнулся тот, — что-то делать надо в пути. Скучища...

Выглянули в окно. Телеграфные столбы вблизи, темные селения вдали, у горизонта, бескрайние снежные равнины — все это стремительно убегало назад, назад...

— Можете сколько угодно иронизировать надо мной, — сказал Вася, — но разрешите, Лев Маркович, задать вам вопрос.

— Вопрос?

— Да, и, возможно, для вас несколько неожиданный.

— Прошу. Мы, люди старшего поколения, обязаны отвечать на все ваши вопросы, молодой человек, дабы уберечь вас от повторения наших ошибок...

— Будьте уверены, ваших ошибок мы не повторим, — сказал Вася.

— К чему? — заметил Савелий Кузьмич. — Они совершат своих немало...

— Браво! — обернулся к нему Гнезин. — Один — ноль в вашу пользу, Савелий Кузьмич!

И к Петрову:

— Ваш вопрос?

— Были вы, Лев Маркович, когда-нибудь... влюблены?

Вопрос и впрямь оказался для Гнезина неожиданным. Долгим, испытующим взглядом уставился он на молодого человека и вдруг, тряхнув рыжей бородой, рассмеялся.

— Представьте — был, да еще как!..

— Вы — со своим отношением к женскому роду? — удивился Вася.

— Да, да. Но мое теперешнее отношение к нему уже результат известного житейского опыта, и неспроста же оно возникло. А до этого... до этого... Вам, Савелий Кузьмич, я уже рассказывал. Стоит ли об этом рассказывать и нашему молодому человеку, как вы думаете? А вам не скучно будет выслушать эту историю еще раз? Пожалуй, расскажу, молодому человеку это может пойти на пользу. А котлеты еще будут не скоро...

Лев Маркович повернулся к Васе:

— Так вот, мой друг, представьте — был влюблен, и влюблен как следует, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями. Ночи напролет мечтал о встрече, о знакомстве. Затем, когда эти мечты осуществ-

вились, мы без конца гуляли — и при луне и без луны. Уезжая, писал ей длинные письма, бывая на месте, дарил цветы. Одним словом, все как в порядочных старых романах. Нынче это делается, говорят, проще и быстрее и в жизни и в романах. Моя возлюбленная — как она выглядела? Разве это важно? Коль был я влюблен, то ясно, что десять Эдит Пьех не могли бы сравниться с ней одною. Не девушка, а кладезь совершенств! Мы друг другу поклялись в верности навеки, и осталось одно — расписаться. Замечу кстати, что тогда еще пышных свадеб не устраивали — достатки были не те... Но... Как видите, дело тут не обошлось без «но». У меня был добрый товарищ, друг детства. Учился он в другом городе, окончил институт и вернулся инженером. Познакомил я его с моей Нелли. Прошло какое-то время, и что вам сказать, отбил он ее у меня... Отбил по всем правилам стратегии. И что удивительного? Я тогда даже бухгалтером не был, так, счетоводишко в потребкооперации. А он — инженер! Одним словом, они поженились.

К столу подошла официантка с подносом.

— Что заказывали на второе?

— Свиные котлеты.

— Нету.

— Но вы же сами...

— Нету.

— Что есть?

— Я принесла рагу. Возьмете?

— Что же...

— Вот так и жизнь, — сказал Лев Маркович, пробуя вилкой твердые крохи мяса из рагу, — такой же ресторан на колесах: заказываешь одно — обещают другое, а подают и вовсе невесть что...

— И то хорошо, — заметил Савелий Кузьмич, — а если б не принесла ничего...

— И то верно, — согласился Лев Маркович.

— Не жаловаться, старики! Есть, что дают! — усмехнулся Вася. — Что же дальше, Лев Маркович, вы меня заинтриговали.

— Заинтриговал, гляди-ка! Тут жизнь дала трещину, а он — заинтриговали! А дальше было вот что: мой товарищ, как я уже сказал, и Нелли поженились. Прошел год после свадьбы, ее отвезли в роддом. Роды были тяжелые, потребовалась операция. Ребенка вынули мертвым. Больше рожать она не могла...

— А что затем? — спросил Вася, так как Гнезин вдруг умолк и всерьез принялся за свое рагу.

— Затем? У Нелли, то ли из-за неудачных родов, то ли это было у нее от природы, оказался характер — не приведи господь! Тут не сядь, там не стань! Ревновала его к каждому столбу... Изводила претензиями — мало зарабатывает. Что ни день — скандалы, крики, слезы... Впрочем, вскоре они переехали в другой город, и, как там у них дальше пошло, не знаю. Не интересовался. Для себя же... — Гнезин отодвинул пустую тарелку, вытер салфеткой усы и бороду, — для себя же я сделал вывод: хватит! Больше подобных глупостей — влюбляться и прочее — ни-ни! Раз в жизни нашелся товарищ, который выручил из беды. Другого такого за деньги не сыщешь! И вот, как видите, перед вами свободный и совершенно счастливый человек!

— А в том, что я остался холостяком, повинна следующая история... — начал Савелий Кузьмич.

— Прошу прощения, — деликатно перебил его Вася, — не кажется ли вам, что две истории двух холостяков для одного раза многовато? Не отложить ли нам вашу историю на следующий раз?

— Совершенно с вами согласен, — ответил Савелий Кузьмич, — можно и отложить.

Одно за другим стали заглядывать в окна высокие привокзальные здания. Отблескивающие переплетения рельсовых путей широко раскинулись по обе стороны поезда.

— Вот, кстати, и станция, — сказал Вася и заторопился к выходу.

4. Яблоки

В дверь купе постучали.

— Войдите!

На пороге Мира Ефимовна увидела Васю. Длинный, худой, с нависшими на глаза белесыми вихрами, стоял он с большим кульком в руках.

— Ну и морозище, Мира Ефимовна, едва добежал.

Она лежала, когда он вошел. Тут же поднялась, поправила халат, волосы, спросила:

— Вы так и бежали по перрону без шапки?

— Ну и что? — ответил он. — Зато глядите, чего достал!

Он поднес ей кулек, и она восхищенно воскликнула:

— Яблоки! Откуда?

— Уметь надо!

— Я спокойно лежу, знаю — обедаете. А вы... Да как же так — без шапки по морозу?..

— Только кончили мы обедать, — стал рассказывать Вася, — станция. Я — в буфет. Дают яблоки.

— Дают? — смѣясь, переспросила она.

— Ну да. Очередь — конца не видать... «Я с поезда! — говорю. — Видите, без шапки. Поезд отходит...» — «Знаем! — крик. — Все с поезда...» — «Мне для больной», — говорю. Никаких! «Для беременной...» Подействовало! Схватил и — бегом! Вот...

Кулек он положил на столик и стал растирать красные уши.

— Чуть не отморозил...

— Что вы, мне столько не нужно, — запротестовала Мира Ефимовна.

— Для себя, что ли, я затеял перепалку с целой очередью?

— Спасибо, Вася! Но мне хватило бы и пары яблок.

— Благодарите, Мира Ефимовна, не меня...

— А кого же?

— Станционный буфет, вот кого! Догадались же — к приходу нашего поезда выбросить такие яблоки!

— Чудо яблоки! Спасибо, Вася...

— На здоровье, Мира Ефимовна. Вам нужны витамины.

Она еще раз поблагодарила и сказала:

— Вашей будущей жене, Вася, можно позавидовать.

— В чем же?

— Вы такой внимательный, добрый...

— Но так как жена моя еще в будущем, — возразил Вася, — то и завидовать некому. А сейчас, Мира Ефимовна, вы позавидуете мне: завалюсь на полку и примусь за свою книгу. Не возражаете?

— Что вы! Конечно же отдыхайте. Вам и вообще полезно полежать. Вам надо набрать немного тела, Вася. Смотрите, какой вы тощий. Кожа да кости. Сразу видно, присмотреть за вами некому.

— Тощий, говорите? Но такому жить легче. Неужели лучше быть таким, как Лев Маркович? Жаль смотреть, с каким трудом карабкается, бедняга, на свою верхнюю полку. То ли дело мы! — Он приподнялся на носках,

оперся локтями на обе верхние полки, взмах — и лежит у себя.

— Ох, сколько в вас еще озорства, Вася, ну совсем как мальчишка! А где вы оставили нашего Льва Марковича?

— Наверное, пошел в вагон к Савелию Кузьмичу. Оба финансовые работники, оба холостяки. Два сапога — пара.

Последние слова Вася произнес, уже уставившись глазами в свою толстую книгу.

— Читайте, я вам не буду мешать, — сказала Мира Ефимовна и придвинулась ближе к окну.

Поезд отошел от станции, но ее строения еще проносились мимо окна.

Мира Ефимовна закрыла глаза — так ей лучше было вслушиваться в то важное, большое, что происходило внутри нее. Вот оно: толчок... И еще... легко так, неясно... И сердце — в трепет... Когда она собиралась выйти замуж за Мишу, представляла себе их совместную жизнь, знала — будет счастье. Но таким полным, таким всеобъемлющим она его себе не представляла... И разве можно представить то, чего не знаешь? Как жаль ей всех тех, кому не дано чувствовать того, чем она полна теперь... Бедные... Зинаида Семеновна, например. Несчастливая, сделала аборт и сама не подозревает, какого огромного лишила себя счастья. Она красива, пользуется успехом у мужчин, вертит ими, как хочет, и думает, что в этом счастье. Но что это за бедные ошметки в сравнении с тем, чем переполнена теперь она, Мира...

Она открыла глаза. Оглянулась — на верхней полке напротив Вася углубился в свою толстую книгу. Из кулька на скатерку выкатилось яблоко. Алые полосы на нем так тепло контрастировали со снежной, холодной белизной, проносившейся за окном... «Хороший день сегодня, — подумала Мира Ефимовна. — Мишина телеграмма... Яблоки... — Улыбнулась. — Надо же — в такой мороз по перрону без шапки... Чудачок!»

Глянула вверх:

— Вася, вы все еще «Обломова» читаете?

— Да, Мира Ефимовна.

— И как?

— Блеск!

— А что вы раньше говорили, помните?

— Дураком был, Мира Ефимовна, каюсь — круглым дураком!

— Ну зачем же так? Вас просто плохо учили литературе.

Вася повернулся на полке, его белесые вихры свесились вниз.

— Мира Ефимовна, вы, наверное, отличная преподавательница литературы, да?

— Ну что значит отличная? Просто я стараюсь перед своими учениками прежде всего раскрыть красоту слова, научить их наслаждаться им, чувствовать всю его прелесть. А тогда уже дойдет и все то, что литература несет в себе: идеи, идеалы — все.

— Правильно, — заметил Вася. — А как у нас чаще всего учат? Вот как, например, учили меня? Литературу мы «проходили». «Проходили» Пушкина, Лермонтова, Некрасова, современных писателей и... так и прошли мимо них.

— Это плохо, — сказала Мира Ефимовна. — Ну, а в институте?

— В институте вовсе считают, что гидрологам литература не обязательна. И вот, стыдно признаться, я полный профан. И только вот благодаря вам...

— Что благодаря мне?

— Благодаря вам у меня, кажется, появился вкус к настоящей литературе. Вы знаете, Мира Ефимовна, бывает, что какая-нибудь случайная встреча перевернет жизнь человека. Такова — не смейтесь — встреча моя с вами. Вы на многое мне раскрыли глаза. И вообще, Мира Ефимовна, вы какой-то очень цельный, очень полный человек...

— Куда уж полнее, — улыбнулась она.

— Нет, я не о том. Как бы это лучше объяснить вам? Вот когда разрезаешь арбуз, а он зрелый, переполненный соками, так и переливает через край...

— Ну, Вася, — отмахнулась, краснея, Мира Ефимовна, — это вы что-то уж чересчур. По отношению к вам признаю за собой одну небольшую заслугу: я сумела вам разъяснить, что Иван Александрович Гончаров хороший писатель и что «Обломова» следует прочесть.

— Да, помните: на второй день после выезда из Москвы я, разочарованный, пришел из поездной библиотеки, говорю: «Все порасхватили. Осталась пара детективов и вот этот фолиант. На всякий случай взял, но что

читать буду, не знаю». — «А что это?» — спросили вы. «Обломов». — «Это прекрасная книга! Неужто не читали?» — «В школе, говорю, проходили отрывок. Единственное, что осталось в памяти; знойный полдень в деревне, и в квасе плавают мертвые мухи». — «Как можно, — возмутились вы, — такое произведение — и все, что осталось, — мертвые мухи... Немедленно читайте!» — «Да о чем читать? — говорю я. — Знаю, речь о помещике-лежебоке, который за всю жизнь палец о палец не ударил. Сто лет тому назад это еще могло кого-то интересовать, но в наше время...» — «Да читайте, — повторили вы. — Вы насладитесь мастерством, с которым этот лежебока описан, да и самим лежебокой также... Обломов, обломовщина — это ведь целая эпоха в развитии русского общества...» Тут вы мне процитировали Добролюбова... И вот — который день не могу оторваться...

— Но что-то, — заметила Мира Ефимовна, — вы уж чересчур медленно читаете. Вы, кажется, не дошли еще и до середины?

— В книге, — сказал Вася, — все происходит неторопливо, как во время замедленной съемки. Вот так и хочется читать — не спеша. И, кроме того, Мира Ефимовна, мне страшновато подумать: что я буду делать, когда эту книгу закончу?

— Как что? — ответила она. — Будете читать другие книги Гончарова.

— А есть у него и другие? Такие же, как «Обломов»?

— Таких, пожалуй, нет, «Обломов» — его лучшая вещь, — однако книги очень интересные.

— Какие же?

— Неужели не знаете?

— Нет.

— Ну, вы, Васенька, действительно профан.

— Говорил же я вам. Какие это книги?

— Самый шаблонный вопрос на всех литературных викторинах следующий: «Назовите три произведения известного русского писателя, начинающиеся с одних и тех же двух букв...» Не знаете?

— Нет.

— Ай-ай!.. Гончаров: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

— Действительно! — с детским изумлением воскликнул Вася. — Все три на «Об»... А больше он ничего не написал?

— Есть у него еще одно произведение, в несколько ином жанре. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» и написал об этом.

— Что-то слышал, — сказал Вася. — Как только приеду на место, все эти книги прочту. Видите, Мира Ефимовна, какое вы открыли для меня сокровище...

— Я вам завидую, Вася, — ответила она, — в жизни вам предстоит еще столько открытий...

Вася перегнулся с полки.

— Мира Ефимовна, вы не отведали яблок?

— Нет еще...

— А я старался...

— Меня радует один их вид...

— Но этого мало!

Соскочив с полки, он уселся напротив, вынул из куляка и подал Мира Ефимовне самое большое яблоко.

— Я его не одолею, — сказала она, — разрежьте.

Когда он это сделал, она половину вернула ему:

— Отведайте и вы.

— С удовольствием!

Одновременно вонзили они молодые зубы в пахучую прохладную мякоть.

5. Пощечина

Зинаида Семеновна в свое купе вернулась вечером. Вася ужинал в ресторане. Льва Марковича, который являлся только спать, еще не было.

Мира Ефимовна не зажигала света, и лишь бледные огни небольшой станции, которую проехали без остановки, едва вычерчивали лицо одинокой женщины у окна.

— Почему не зажигаете света? — каким-то хриплым голосом спросила Зинаида Семеновна.

— Не хочется.

— А где наши кавалеры?

— Вам их не хватает?

— Да нет, к черту! Просто так...

Мира Ефимовна в темноте не видела лица своей попутчицы, но до нее явственно донесся запах коньяка. Зинаида Семеновна нащупала свою постель, упала на нее, зарылась головой в подушку, и вскоре слышались ее прерывистые всхлипывания.

Мира Ефимовна поднялась.

— Что с вами? — Тронула Зинаиду Семеновну за

плечо. Оно тряслось от рыданий. — Успокойтесь... Что случилось?

— Не надо, — донеслось до нее через всхлипывания. — Уйдите... Не стою... Я не стою вашей заботы... Ничего не стою. Ничего... — И Зинаида Семеновна еще пуще зарыдала.

Дрожащей рукой Мира Ефимовна налила ей воды.

— Успокойтесь...

— Хорошо, — сквозь слезы ответила Зинаида Семеновна. — Это пройдет...

— Включить свет?

— Не надо.

Она поднялась. Мира Ефимовна села напротив. В темном купе двух женщин едва можно было различить.

Зинаида Семеновна хрипло сказала:

— Он предложил мне выйти за него замуж.

— Кто?

— Вадим Петрович.

— Как это?

— А вот так: не сходить в Хабаровске, ехать с ним до Владивостока, а там выйти замуж.

— Он не женат?

— Говорит, с женой разошелся.

— Что вы замужем, знает?

— Конечно.

— Вадим Петрович?.. С виду такой приличный человек...

— Все они приличные... Сил нет, до чего приличны...

— Когда он вам это предложил?

— Да только что, провожая из своего вагона. В тамбуре. И тут же кинулся целовать...

— А вы?

— А я отвесила ему пощечину и убежала...

— Возможно, Вадим Петрович был пьян? — после некоторого молчания спросила Мира Ефимовна.

— Конечно же, пьян, — ответила Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, сколько коньяку сегодня там вылакали за день...

— И вы?

— И я.

— Вас кто-то принуждал?

— Отчасти.

Помолчав, добавила:

— А отчасти и самой хотелось.

— Зачем?

— Зачем, зачем! — зло вскинулась Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, до чего иногда становится тошно, постыло жить на свете! До чего хочется обо всем забыть...

— О чем обо всем?

— Обо всем решительно, понятно?

— Нет, не понятно. Вы молодая, красивая женщина. Вами все восхищаются. У вас хороший муж. Чего вам недостает?

— Чего недостает? — Зинаида Семеновна вдруг доверительно склонилась к своей попутчице. — Сама не знаю, только знаю — недостает. Ой, как многого недостает...

— Ну и отлично, что знаете, — сказала Мира Ефимовна, — значит, со временем обретете.

— Вы думаете?

— Конечно. Вот вы едете к мужу. Он ждет вас.

— Да, еду... — странным голосом сказала Зинаида Семеновна и надолго умолкла.

— Может, на боковую? — предложила Мира Ефимовна. — Пока не вернулись наши кавалеры...

— Пожалуй, — ответила Зинаида Семеновна. — Извините, Мира Ефимовна, вам нужен покой, а я волную вас. Извините...

— Да что вы! — ответила та. — Главное, успокойтесь вы, Зинаида Семеновна, не расстраивайтесь по пустякам. Вот отдохнете за ночь и встанете завтра со свежей головой.

Не зажигая света, обе женщины разделись и улеглись под одеяла.

Вскоре явился Вася. Тихо приоткрыв дверь, он на цыпочках вошел и немного постоял в темноте. Спать не хотелось, он думал в коридоре еще почитать. На горизонте у Обломова появилась Ольга... Красивая, нежная, умная Ольга... Неужто и теперь Обломов останется верен своей натуре? Неужто и Ольга не взбодрит, не пробудит его от спячки, не вынудит, наконец, к какому-нибудь активному действию? Так думал Вася и вдруг решил, что нет, сегодня читать больше не будет — завтра. С радостным чувством уверенности в том, что завтра ждет его интересное, захватывающее, он ловко подтянулся на локтях и тихо прыгнул к себе на полку.

Совсем поздно вернулся Лев Маркович. Он хотел войти неслышно, но так стукнул дверью, что тут же замер:

не разбудил ли кого? Нет, кажется, не разбудил... Чтобы хоть как-нибудь видеть в темноте, включил ночную лампочку и в ее густом фиолетовом свете стал раздеваться. Снял пиджак, галстук, джемпер, все это сложил на верхней полке, затем, придвинув лесенку, стал медленно, с трудом, по ней взбираться. Потом долго и неловко стягивал с себя брюки, аккуратно сложил их и, наконец, тяжело вздохнув, улегся. Наблюдая все это, Вася думал: прав, конечно, толстяк, что просится на другое место, ему ли карабкаться на эту верхотуру? Он тихо кашлянул.

Лев Маркович живо повернулся:

— Не спите, Вася?

— Нет.

В свете ночника Васины белесые вихры и рыжая борода Гнезина были одинакового темно-фиолетового цвета.

— Что слышно тут? — прошептал Лев Маркович, показывая вниз.

— Полный порядок.

— А я думал: может быть, уже?

— Никак нет.

— А не возможно ли, что этой ночью, а?

— Исключено. Спокойной ночи!

Вася откинулся на свою постель и повернулся лицом к стенке. Лев Маркович еще некоторое время беспокойно ворочался, пока приглушенный ночной теменью равномерный стук колес не убаюкал и его.

6. Новый день

Было еще рано, но капитан Лаутин и Надя уже стояли у окна. К этому настолько привыкли, что если б однажды не увидели их на этом месте, показалось бы, что в вагоне чего-то не хватает. Она все время держалась рукой за оконную раму, как бы опасаясь, чтоб резкой качкой от движения поезда не отшвырнуло ее от собеседника. Они разговаривали или молчали. Но когда и молчали, казалось, что они продолжают разговор. Она все время не отрываясь снизу вверх смотрела на его крупный подбородок с глубокой ямкой посередине, на широкие крылья немного вздернутого носа, на жидко-

ватые пшенично-светлого цвета брови и, главное, в глаза, как бы налитые густой, отстоявшейся синевой.

— Что вы так разглядываете меня? — спросил он у нее однажды. Он знал, что некрасив, и, когда женщины смотрели на него, смущался. Ему казалось, что они посмеиваются над ним, и вовсе не подозревал, что нравится — не отдельными какими-то чертами лица, а общим выражением уверенности и силы, которые излучал весь он, вся его ладно скроенная фигура.

— А я не разглядываю, — ответила ему Надя, — я слушаю вас.

И это была правда — она не разглядывала, впрочем, она и не слушала, а со всей впервые проснувшейся в ней жадностью своих девятнадцати лет всего его как бы впитывала в себя...

В редкие минуты, когда не стояла у окна, Надя у себя в купе писала письма подружке, оставшейся в Москве.

«Натка, дорогая, — писала она и в это утро, — я уже пятые сутки в пути, и ты не можешь себе представить, сколько нового за эти дни вошло в мою жизнь. Я так счастлива, что не послушалась тебя и не полетела самолетом, а поехала этим чудесным экспрессом «Россия»... Каждый день переполнен до краев. Я уже не говорю о местах, которые мы проезжаем, хотя и это очень важно и интересно. Но главное, Натка, главное... Ты можешь мне не верить. Но я... Я, кажется... Да, да, да!.. Впрочем, нет, я не выскажу этого слова даже тебе... Не скажу и себе самой до тех пор, пока не скажу ему... Но ему я никогда этого не выскажу... И это неважно. Главное — я так счастлива, как не была еще никогда в жизни...

Часами, — писала она дальше, — мы стоим у окна, и я не чувствую, как летит время. В купе у нас очень шумные соседи — домино, «шпулька», — и мы с ним спасаемся в коридоре, у окна. Много беседуем. О чем? Обо всем на свете. Он рассказывает о себе, у него есть что рассказать. А я — о себе, хотя что, собственно, могу я рассказать? Что видела я в свои девятнадцать лет? Знаешь, он капитан, летчик. Получил новое назначение и едет к месту своей службы. Скажешь, старик? Ну да. Впрочем, такие, как он, стариками никогда не бывают. Меня, конечно, он старше раза в два. Ну и что? Хочешь знать, имеет ли он жену, детей? Женат, имеет мальчика и де-

вочку. Он мне много о них рассказывает... Но то, что я чувствую, Натка, это такое счастье... Ты ведь знаешь, я по-настоящему еще никого не любила. Считала — счастье, когда кто-то полюбит меня. А теперь я поняла, что любовь вообще счастье, даже если любишь только ты, а тот, кого любишь, может об этом и не знать...

Бегу. Он уже у окна, ждет. А может, и не ждет — все равно».

Он стоял у окна, сосредоточенно о чем-то думая. Молодая березовая роща по колéно в снегу, промелькнув, исчезла.

— О чем задумались, Сергей Владимирович? — спросила Надя.

— О чем? — Странно, как ей показалось, взглянув на нее, он сказал: — Есть о чем думать.

И добавил:

— Еду вот на новое место. Предстоит жить, работать с новыми людьми. А какие это люди, как с ними сработаемся?

А у нее, глядя на Сергея Владимировича (она все время смотрела на него), было впечатление, что думает он о чем-то другом, о чем ей, Наде, рассказывать не хочет, и поэтому так много говорит о работе, о переезде.

— Это тоже не просто, — говорил он. — На старом месте у меня хорошая работа, дети учатся.

«Почему он говорит о детях, — думала она, — как будто хочет этим от чего-то себя обезопасить?» Но ему не грозит никакая опасность. И ей вовсе не так уж интересно слушать о том, как будет он переезжать. Как-нибудь да переедет! Ее больше интересовало, где и как он учился, как стал пилотом. Об этом она и спросила его. «О, — ответил он, — это незабываемый период в жизни!» Рассказал, что кончал в Оренбурге авиационное училище, — кстати, то самое, что и Гагарин.

— Гагарин? — переспросила она, и восхищение, которое вызывает это имя, тут же перенесла и на него, Лаутина.

— И вы тоже могли стать космонавтом? — спросила Надя.

— Мог.

— Почему же не стали?

— Не всем же быть космонавтами, — ответил он, — нужны и просто пилоты.

— Но я уверена, — сказала Надя, — из вас вышел бы отличный космонавт. Вы просто не просились, да? А теперь уже поздно?

— Почему же? — ответил он. — Можно и теперь. А вы бы дали на это «добро»?

— Да!

— Тогда остановка за малым, — усмехнулся он, — надо, чтобы дал еще свое «добро» генерал Каманин...

— Представляете, — восхищенно сказала Надя, глядя ему в глаза, — я сижу у себя в аптеке в каком-нибудь таежном поселке (меня обязательно зашлют в какую-нибудь глушь), составляю свои рецепты, и вдруг — радио: очередной полет в космос! И я слышу: машину ведет пилот-космонавт Лаутин Сергей Владимирович. Год рождения такой-то, родители такие-то. Женат. Имеет двоих детей...

Она умолкла, затем грустно добавила:

— Только о том, что пилот-космонавт Лаутин С. В. ехал экспрессом «Россия» в одном вагоне с Надей Симоновой, — об этом в сообщении ничего не скажут...

— Не горюйте, Надя, — положил он руку ей на плечо, — зато я передам вам личный привет из космоса прямо в тот поселок, где вы будете жить. Не забудьте только сообщить свой адрес...

— Передадите? — спросила она. — Я буду ждать.

Из восьмого купе вышел Лев Маркович Гнезин. Пройдя мимо Лаутина и Нади, он вежливо им поклонился.

— Вы не находите, — спросил Лаутин, когда Гнезин прошел, — что у этого человека отменная борода? Такие бороды носили когда-то визири...

— Это не по моде, — возразила Надя. — Теперь бороды носят юнцы, а старики ходят бритые...

— Но борода эта не простая, а с умыслом.

— Каким же?

— Природа, как видите, обидела человека ростом — он коротковат. Длинная борода этот недостаток компенсирует...

— Шутник вы, Сергей Владимирович! — рассмеялась Надя.

Из восьмого купе вышел Вася Петров и уселся с книгой у окна.

— Всю дорогу, заметил я, — сказал Лаутин, — он читает одну и ту же книгу.

— Это «Обломов».

— «Обломов»?

— Что вас удивляет?

— Вообще ничего. Но, знаете, экспресс «Россия», который за неделю проходит путь от Москвы до Владивостока, — и... Обломов... Тут есть над чем подумать...

У восьмого купе появился Эрнест Валерьянович из четвертого вагона. Темно-синий спортивный костюм с белой каймой рельефно обтягивал его плотную, мускулистую фигуру. До Лаутина и Нади долетел его вопрос:

— Не ушла еще?

— Нет, — буркнул Вася, не поднимая головы от книги.

Эрнест Валерьянович постучал и скрылся в купе. Через некоторое время он вышел оттуда вместе с Зинаидой Семеновной. Она была очень эффектна в брючной паре, белоснежной блузке под оригинальной вязаной кофтой и в дымчато-розовой косынке на шее. Эрнест Валерьянович деликатно пропустил ее вперед.

— Четвертый взял реванш! — сказал Лаутин.

Все тут знали о своеобразном соперничестве между третьим и четвертым вагонами, вернее, между инженером-технологом из Владивостока и хабаровским преподавателем физкультуры Эрнестом Валерьяновичем. Вчера победа была за Вадимом Петровичем.

— Как же это сплеховал он сегодня? — удивился Лаутин. Он не знал, что тот сплеховал еще вчера...

— Соседи из нашего купе уже ушли в ресторан, — заметил Сергей Владимирович. — Пора завтракать.

— Мне еще не хочется есть, — сказала Надя.

Она вошла в пустое купе, уселась на свое место, посидела в задумчивости; потом на книгу, которую читала в дороге, — «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый лист и продолжала начатое письмо.

«...Знаешь, Натка, — писала она, — сегодня мы снова долго разговаривали у окна. Боюсь, не начал ли он о чем-то догадываться, — уж очень часто стал говорить о жене, о детях... А я его попросила рассказать, где учился на пилота и — знаешь где? — в том же авиационном училище, что и Гагарин, да! Я спросила: почему и он не стал космонавтом? Сказал, что может еще стать. А когда станет, говорит, он пошлет мне привет из космоса. Из космоса, понимаешь?..»

7. Хорошо думается в дороге

Дорога без конца и без края... Поезд пятый день в пути, а все новые станции, города, большие и малые, наплывают, встречаются, остаются позади — и вместо них другие, другие... А сколько пустующей земли, сколько рек, лесов, какие просторы для новых строек! Сибирь...

Неотрывно глядя в окно, Мира Ефимовна была благодарна своим соседям, которые надолго оставляли ее одну, наедине со своими мыслями, не мешая ей вслушиваться в ту новую жизнь, которая зрела внутри нее, то и дело напоминая о себе настойчивыми толчками, как бы спрашивая: «Скоро ли, скоро?..»

Предстоящие роды пугали ее, и все же ей хотелось, чтоб это началось скорее, хотя и не ранее ее приезда на место. С ужасом она отбрасывала мысль о том, что это может случиться раньше, в пути, и тут же успокаивала себя: ехать осталось менее двух суток, и чувствует она себя вполне сносно.

Теперь, когда близится к концу чудодейственный цикл, предваряющий рождение человека, ей хотелось думать о том, как все это началось...

А началось не просто. Чуть было не засиделась в старых девах. Да, пожалуй, и без всякого «чуть» — в двадцать семь лет у нее никого еще не было. Шутка ли? Впрочем, мальчики, а затем и парни интересовались ею и в школе еще, потом в техникуме, позже — в институте, да и когда стала учительницей. Но — странное дело — никто из тех, кто выказывал к ней интерес — а иные и немалый, — не нравились ей. И не потому так случалось, что была она очень уж привередлива, что ли, хотя само собой именно так получалось, ибо одному, другому, третьему давала она понять, чтоб не связывали с ней никаких надежд, и от нее уходили. Истинная причина этого состояла в том, что с детских лет — такую уж была — привыкла ставить серьезные, большие требования к себе и другим. А если кто этим требованиям не соответствовал, то о чем и речь? Она никогда не связала бы своей жизни с человеком, с которым у нее не было общих взглядов, интересов. Водить же за собой парней «просто так», на всякий случай, для того чтоб досужие кумушки могли сказать «пользуется успехом», — этого она не могла, не умела и считала нечестным. «Что значит, — думала она, — встречаться с человеком, вместе ходить на кон-

церты, в кино? Это значит — обнадеживать его. Но как можно на такое пойти, не питая к этому человеку серьезного чувства, не будучи готовой связать с ним жизнь? Многие так поступают? Но что же с того?» Так и ответила она однажды матери, когда та очень уж стала приставать со своими материнскими наставлениями и заботами о будущем.

Мирина мать много лет работала воспитательницей в заводском детском саду, ее там уважали, ценили. Была она доброй женщиной, преданной матерью, и ей хотелось получше устроить будущее дочери. Убедившись, что доводы ее не действуют, мать стала выговаривать отцу: почему он-то дочери ничего не скажет, не попытается ее вразумить? Почему он так безразличен к Мириной судьбе? Или та не дочь ему? Но отец не вмешивался, молчал. Он работал мастером участка на большом подмосковном заводе. Поступил он туда вскоре после войны, когда демобилизовался из армии. За эти годы к фронтовым наградам у него прибавились медаль «За доблестный труд» и почетное звание «Мастер — золотые руки». У него, опытного слесаря, токаря и электросварщика, руки действительно были золотые, к тому же, как утверждали все знавшие его, обладал он и «золотым характером» — был человеком непритязательным, покладистым и при всем том молчуном. В ответ на мамины сетования по поводу того, что он ничего не говорит Мире, Ефим Зильберг сказал: «Ты вот говоришь — и что же помогло тебе?» Он был уверен: дочь просто не нашла еще своего суженого. Так и объяснил это матери.

— А если она так его и не найдет? — вскинулась та.

— Тогда он найдет ее, — спокойно ответил отец.

Так оно и было.

Призвание учительницы в Мире пробудилось рано. Окончив семь классов, пошла она в педагогический техникум. Затем два года работала в младших классах той школы, где ранее училась сама, а по окончании института стала преподавательницей русского языка и литературы в старших классах этой же школы.

В конце октября состоялся в школе традиционный вечер выпускников. На этом вечере кто-то (она и не помнит, кто) познакомил ее со студентом выпускного курса электротехнического института. Студент когда-то учился в трех старших классах этой школы, притом в то время, когда Мира перешла уже в техникум, вот почему они

ранее друг друга не знали. Имя и фамилия студента были Миша Хейфец. На том вечере они немного побеседовали, потанцевали. Из школы вышли вместе большой компанией — учителя и гости. Постепенно компания растаяла, и Мира со своим новым знакомым остались одни. Было поздно, и он проводил ее домой. Прощаясь у ее дома, он спросил: мог ли бы он встретиться с нею еще раз? «К чему?» — спросила она. «Просто для продолжения нашего знакомства». — «Это так важно?» — поинтересовалась она и услышала в ответ: «Наверное, важно». — «Если это так, — промолвила она, — вам теперь известно место работы и адрес дома». — «А желательна ли будет для вас эта встреча?» — спросил он. «Там уж видно будет!» — ответила она и сама удивилась тому игривому тону (откуда он у нее?), с которым она произнесла эти слова. Быстро поднялась к себе на четвертый этаж, тихонько, чтоб не разбудить родителей, отперла дверь, прошмыгнула к себе в комнатку, улеглась и всю ночь так и не сомкнула глаз...

Как и каждая девушка, Мира в шестнадцать-семнадцать лет уже имела перед своим мысленным взором образ человека, с которым она готова была бы соединить свою жизнь. Конечно же, он был умен, эрудирован, любил (как и она) поэзию, был добр, настойчив в достижении цели и — в этом состояло главное его достоинство — любил ее... Любил так, как ни один герой из всех прочитанных ею книг не любил свою возлюбленную...

Имела она и достаточно ясное представление о внешнем облике своего избранника. Сама она была достаточного роста — метр шестьдесят восемь, — а он должен был быть хотя бы на пару сантиметров выше, тут Мира не уступила бы и сантиметра! Сама была темноволоса, кареглаза, следовательно, ему положено быть светлым: золотистые вьющиеся волосы, голубые глаза, умный, выразительный взгляд. Ну, и он должен быть крепок в кости, чтобы было на кого опереться...

Зная это, легко понять, почему стольким парням она указала на дверь, — они не соответствовали ее идеалу. Кроме того, никто из них ни разу не заставил так забиться ее сердце, как забилось оно, когда познакомили ее с этим студентом...

«И впрямь, отчего вдруг так замерло, а потом встрепенулось сердце?» — думала она об этом в ту бессонную ночь, лежа в постели в своей маленькой комнатке, и

не могла понять... И почему, когда компания, вместе с которой они вышли в тот вечер из школы, стала расходиться, она, Мира, вдруг так испугалась при мысли, что за следующим углом распрощается и уйдет и этот студент, Миша Хейфец, и она больше никогда его не увидит?.. А потом, когда он привел ее к дому, ей так захотелось, чтоб он предложил встретиться еще раз, что, когда он действительно предложил, ей показалось, что не его это было желание, а ее, переданное ему какой-то гипнотической силой внушения...

Они встретились еще и еще раз. Встречи эти стали необходимостью, счастливой обязанностью. Не было дня, чтобы они при любой занятости не увиделись хотя бы на минуту. Выходные дни проводили вместе. Он стал заходить к ним в дом. Родители Мира, наученные прошлым опытом, только и ждали, когда — после третьего или четвертого посещения — и этот парень, как было с другими, по их понятиям более завидными, перестанет у них бывать. Но странное дело — визитам нового знакомого уже и счет потеряли, а все не видно было, чтоб Мира хоть в какой-то мере противилась им. Наоборот, с приходом Миши Хейфеца Мира преображалась, становилась веселее, разговорчивее. Раньше, бывало, ее не вытащишь в кино — она показывала на гору тетрадей со школьными сочинениями, диктантами, которые предстояло проверить. Теперь тетрадей было не меньше, но она находила время и для кино и для прогулок.

Во время этих прогулок Миша рассказывал ей о себе. У него было тяжелое детство. Отец погиб на фронте, мать, слабая, болезненная женщина, воспитывала Мишу одна. По окончании школы пошел он поэтому не в институт, а на завод. Несколько лет проработал слесарем, потом наладчиком. В институт поступил заочно и лишь последние два года отдался целиком учебе. Теперь он уже заканчивал последний курс, готовил дипломную работу. Было ему под тридцать.

Ну, а девушки у него были? И никого он до сих пор не любил?

Во время одной из прогулок Мира задала ему эти вопросы.

— Нет, никого не любил, — ответил он, — и девушек у меня не было... Впрочем, — тут же спохватился он, — девушки у меня были, и немало.

Но все это такие девушки, пояснил он, которых мама, да и разные знакомые прочили ему в невесты.

А он?

Он и встречаться с ними не желал, а те, с кем он, по настоянию матери, и встречался, ему не нравились.

— Ни одна? — спросила Мира.

— Ни одна.

— И мне тоже.

— Что — тебе тоже? — спросил он.

— Мне тоже никто не нравился.

— И у тебя были парни? Я имею в виду — такие, которых прочили тебе в женихи?

— Да, и тоже немало.

— А ты?

— Говорю же — никто мне не нравился. Родители сердились даже, особенно мама.

— И моя мама сердилась. Кроме этого, — продолжал рассказывать Миша, — всегда в жутком цейтноте. Завод, нагрузки всякие, учеба...

— И у меня, — сказала Мира.

— Что — и у тебя?

— То же самое: работа, учеба, нагрузки...

Они шли под руку, пальцы их рук были тесно переплетены.

То ли в третью, то ли в четвертую встречу — был поздний вечер — Миша несмело обнял Миру за плечо да так и забыл на плече ее свою руку. Некоторое время они так шли, затем она руку его осторожно с плеча своего сняла.

— Не надо, — сказала она тихо.

— Почему?

— Возьми меня под руку.

— Так лучше?

— Да.

— Большой практики у меня в этом деле нет, — признался Миша.

— Значит, кое-какая практика все же есть?

Он совсем смутился.

— Смотрю вот, как молодые пары ходят в обнимку, и подумал... Хотя мне самому такое не по душе...

— Вот видишь, — перехватила слова его Мира, — и я в толк не возьму эту новую моду. Когда мужчина ведет женщину под руку, он тем самым поддерживает ее, помогает ей, оберегает ее, это красиво, приятно, име-

ет, наконец, смысл. А тут... Ну, погляди вот, — и Мира показала на парочку, шедшую впереди.

Девушка была маленькая, тоненькая — тростиночка. Шедший с нею рядом высокий увалень с длинными лохматыми космами небрежно держал на ее плечике тяжелую руку, под которой бедная девушка чуть не сгибалась.

— Одним словом, «оберегайте мужчин»! — усмехнулся Миша.

— Вот-вот, — засмеялась и Мира.

Они прибавили шагу, обогнали парочку, и Мира сказала:

— А я хочу быть старомодной... Я хочу, чтоб рядом с тобой мне было не тяжело, а легко. Я хочу, чтоб ты оберегал меня... Хорошо?

— Хорошо, — ответил Миша, еще крепче вплетая свои в ее пальцы.

Некоторое время они шли молча. Вдруг Мира остановилась, осененная внезапной мыслью.

— Что же это получается, — сказала она. — Значит, всю жизнь ты ждал меня? Одну меня, да?

— Так получается, — усмехнулся он. — А ты?

— И я... Но скажи: как ты мог знать, что я, Мира, существую на свете? Как ты мог знать?

— Видишь вот, знал... А ты?

— И я...

Кто к кому потянулся раньше в первом неловком поцелуе?

Потом, лежа в постели в своей комнатушке, она долго не могла уснуть, снова и снова вспоминая и переживая всю эту прогулку от начала до конца, мысленно восстанавливая каждый жест и каждое слово вплоть до первого неловкого их поцелуя...

Вдруг она тихо, про себя, засмеялась. И впрямь, не смешно ли, до чего он, Миша ее, не похож — ну совсем не похож — на того парня, чей образ она столько лет лелеяла в своих девичьих грезах... Золотистые волосы? Ничуть не бывало! Правда, густые, вьющиеся, но темные, почти как у нее. Голубые глаза? Нет, серые, со множеством крапинок вокруг зрачков. Из-под густых черных бровей, соединенных в одну сплошную линию (такие разве она представляла себе?), глаза его смотрят напряженно, серьезно, с видом обремененного заботами человека. Но стоит глазам этим устремиться на нее, как вы-

ражение озабоченности в них исчезает и они начинают излучать нежность...

А нос... ха-ха! Такой разве нос виделся ей у ее суженого — толстоватый и длинный? Но разве это важно? Зато что за умница, как интересно с ним говорить, до чего эрудирован, особенно в технике и математике — областях, в которых сама она ни бум-бум... Любит и неплохо знает историю, начитан в исторической литературе. Увлекают его и книги по фантастике, но равнодушен к поэзии... О любимом ее поэте Николае Заболоцком (в институте она написала о нем работу, которая была высоко оценена) он даже не слышал... К поэзии придется его приобщать.

Она тихо посмеивалась про себя. Вот он, наконец, вместо бесплотного и безымянного героя ее грез, — не такой уж идеальный и даже с крупными недостатками (чего стоит его равнодушие к поэзии!), но зато живой, реальный Миша Хейфец, с которым они сегодня впервые так неловко поцеловались...

Мира готова была простить ему еще один весьма существенный недостаток — то, что ростом он был ничуть не выше ее. Поначалу ей даже показалось, что он ниже, и это не на шутку ее огорчило. Но пару раз, незаметно для него, она с ним померилась и пришла к выводу, что оба они одинакового — абсолютно одинакового — роста и что она кажется выше только из-за своих высоких каблуков. Тут же было принято твердое решение: туфель на высоких каблуках она больше носить не будет.

Вскоре сыграли свадьбу. И он и она обошлись бы и без этой утомительной, шумной и дорогостоящей затеи. Да и к чему все это? — искренне не понимала Мира. Сходятся два человека, это их — и только их — интимное дело, и никого более. Конечно, к этому причастны в какой-то мере и ближайшие родственники, ее и его. Но к чему, однако же, громоздкие сборища посторонних молодых и старых мужчин и женщин, которые обычно занимают места за свадебными столами? С ужасом представляла себе Мира, как все эти люди во всю мощь своих глоток начнут реветь: «Горько!», а она и Миша должны будут подниматься и на виду у всей этой оравы обмениваться поцелуями... Нет, после регистрации в загсе небольшой ужин для самых близких и никаких свадеб! Так и сказала она родителям в день, когда они подали заявление в загс.

Мать была настолько ошеломлена, что не могла вымолвить и слова. На этот раз сказал свое слово отец.

— Дочь моя, — несколько торжественно обратился он к ней, — ты знаешь, я молчал, не вмешивался, не докучал советами. Знал: настанет день. И вот этот день настал. Теперь, прошу, не вмешивайся ты. Дай нам с матерью, коль мы дожили до этого дня, сделать все, как водится у людей. Ведь мы ничем не хуже других...

На том и порешили. Свадьбу сыграли в большом кафе, снятом вместе с оркестром на целый вечер. Было свыше ста приглашенных: учителя из школы, где работала Мира; Мишины сокурсники, воспитательницы из детского сада, где трудилась мама; рабочие и мастера цеха, где руководил участком отец; родственники, знакомые, друзья.

Официанты в галстуках бабочкой разносили блюда одно аппетитнее другого, и среди них специально заказанные: фаршированная рыба, кисло-сладкое мясо и другие. То в одном конце, то в другом за плотно расставленными столами громкими хлопками стреляло шампанское и, шипя, выливалось из бутылок. То и дело заполнялись рюмки золотистым коньяком, чистой как слеза водкой, зеленоватым сухим вином. И, конечно же, вопили: «Горько!» Мира в белом свадебном платье и фате, которые очень шли к ее темным глазам и волосам, и Миша в строгом черном костюме поднимались и проделывали на виду у всех то, к чему еще не очень привыкли и с глазу на глаз... Много танцевали. Твист и шейк — молодежь, шер и фрейлехс¹ — пожилые гости. Любо было смотреть, как сват, Мирин отец, со сватьей, Мишиной матерью, отплясывали «танец с платочком»...

После свадьбы Миша переехал к Мире в комнатуху, здесь они прожили короткое время, оставшееся до окончания института.

Всех выпускников распределили на работу в разные места — кого в Среднюю Азию, кого в Сибирь, кого на Крайний Север. Еще до начала распределения Миша подал в деканат заявление с просьбой направить его на Дальний Восток; в Хабаровский край. Там он собирался хлопотать о назначении в город Биробиджан, где он после института хотел жить и работать. Прежде чем подать заявление в деканат, он советовался с Мирой.

¹ Еврейские национальные танцы.

— Почему в Биробиджан? — спросила она.

Он пояснил: до войны там жили его родители и, как ей известно, там он родился. Мать, тогда еще молодая, здоровая женщина, работала на швейной фабрике, отец — на небольшом заводе металлоизделий. Он был жестянщик. Вскоре после начала войны отца призвали в армию. Первое время служил он в Биробиджане и нередко мог наведываться домой. В сорок втором часть, в которой служил отец, переместили дальше, в Сибирь, а затем направили на фронт. Полгода спустя на имя матери прибыло извещение о том, что муж ее, командир пулеметного взвода Михаил Захарович Хейфец, пал смертью храбрых на поле боя. И — должно же такое случиться — в день получения похоронной на свет появился сын, Миша, названный так в память об отце...

Мать стала часто хворать. Одной воспитывать сына было нелегко, и вскоре после войны она переехала с ним к сестре, в подмосковный заводской поселок, где и живет до сих пор.

— Я много раз пытался установить, — рассказывал Миша, — где находится прах моего отца, но безрезультатно. Место, где он погиб, переходило из рук в руки, и братскую могилу, в которой он был похоронен, вражеские танки сровняли с землей. Так что и следа не осталось. Одна только мать и помнит его.

— А родственники, — спросила Мира, — братья, сестры?

— Все родственники отца, да и матери, — ответил Миша, — а это были большие, разветвленные семьи, не успели эвакуироваться. Они остались на Украине, попали в гетто, и всех их уничтожили немцы.

Больше Мира ни о чем не спрашивала.

Миша сказал:

— Хочу жить там, где жил мой отец, где я родился.

Она смотрела на мужа, и ей казалось, что таким, как теперь, она его еще не видела.

— А ты? — помолчав, спросил он.

— Я поеду с тобой.

По-иному отнеслись к задуманному переезду родители Мира. Поначалу они и слышать не хотели о том, что дочь их будет жить за десять тысяч километров и они не смогут видеть ни ее, ни внука или внучку... Они стали собирать всякие сведения о тех местах, куда собирались дети, и пугать их: там климат пакостный — зимой силь-

ные морозы, летом дожди, комары, да и снабжение там неважное.

Что касается климата, их успокоила Мишина мать, которая также собиралась ехать.

— Климат как климат, — сказала она, — мы там уже жили. Что же касается снабжения, — добавила, — то, правда, лимоны и апельсины там на дороге не валяются... Но жить можно, как и в любом другом месте.

Увидев, что решение детей твердое, их не переубедишь, родители Миры сдались. Ефим Зильберг сказал:

— Когда-то многие мои товарищи уехали в Биробиджан. Был бы и я там — помешала война. Теперь вижу — Биробиджана мне, пожалуй, не миновать. Ты, Миша, едешь в места, где жил твой отец. А мы с матерью поедем туда, где будут жить наши дети...

Вскоре Миша и его мать уехали, и из Биробиджана стали аккуратно приходить письма. В Хабаровске, сообщал Миша, ему нетрудно было добиться назначения в Биробиджан. Ему предоставили интересную работу в конструкторском бюро на большом заводе силовых трансформаторов, продукция которого известна по всей стране. Кстати, сообщал Миша в письме, предприятие это выросло на базе того небольшого завода металлоизделий, на котором до войны работал его отец. Что касается Биробиджана, писал он, это небольшой, но довольно красивый и культурный город. Он, Миша, был совсем ребенком, когда они уезжали оттуда, он мало что помнит, но мать говорит, что город стал неузнаваем. До войны он весь состоял из деревянных одноэтажных и двухэтажных зданий, теперь же и в центре и на окраинах — всюду высятся пятиэтажные дома из светлого силикатного кирпича, который придает городу нарядный, веселый вид. На берегу Биры раскинулся красивый парк, в городе много зелени. Из конца в конец прорезает его широкий проспект, которого раньше вовсе не было, — улица Шолом-Алейхема. Крайние дома этой улицы упираются в большой поселок, который носит имя бывшего рабочего обозостроительного (а теперь «Дальсельмаш») завода, Героя Советского Союза Иосифа Бумагина. Это звание было присвоено Бумагину посмертно, после того как он в боях за Бреслау в апреле 1945 года повторил подвиг Александра Матросова.

Сообщая об этом, Миша в одном из своих писем писал: «Это, конечно, случайное совпадение, что улица Шолом-Алейхема упирается в поселок имени Бумагина. Но когда я впервые ходил по этой улице, впервые был в этом поселке, присматривался к людям, живущим здесь, я подумал, что, может быть, и не случайное это совпадение и что, если хочешь, есть в этом особый и в чем-то даже символический смысл».

Далее он пояснял: «Понимаешь, милая, изображая плачевную долю и горемычное житье бедолаг из Касриловки, Шолом-Алейхем не переставал мечтать о времени, когда они или хотя бы их дети, внуки узнают иную, лучшую долю. В своем герое Феферл, сосланном царскими жандармами в Сибирь, в добровольно последовавшей за ним Годл, старшей дочери Тевье-молочника, он видел борцов за народное счастье. Он мечтал о времени, когда из еврейской народной среды будут выходить не люди воздуха, всякие там Менахем-Мендлы, а истинные герои. Не зная еще их имени, Шолом-Алейхем предчувствовал, предвидел приход таких славных сынов своего народа, как Иосиф Бумагин. И вот они рядом — улица писателя и поселок Героя, понимаешь, милая...»

Это слово «милая» Миша не уставал повторять в своих письмах. А она не уставала, читая их, впитывать в себя все, что за этим словом стояло, что было в нем скрыто и что понятно было только ей одной. Она отвечала ему также пространно, писала, что да, она понимает малейшее движение его души, понимает главное: он счастлив на новом месте, следовательно, счастлива и она и желает лишь одного — как можно скорее очутиться с ним рядом.

Вскоре он написал, что для завода закончили строить большой, стоквартирный дом и что одну из ста квартир решено выделить им. Она может уже приезжать.

И вот она едет.

Но и с поездкой не все было просто.

Мама и слышать не хотела о том, что Мира в таком положении, на сносях, пустится в дальнюю дорогу. Мать хотела, чтоб роды прошли тут, на месте, под ее материнским присмотром. А так как произойдет это в зимнюю пору, то до наступления полного тепла о поездке с ребенком не будет и речи, а она, бабка, глядишь, хоть немного натешится внуком или внучкой... Но в силу этих самых

обстоятельств Миша слал письмо за письмом, требуя, чтоб Мира приехала как можно скорее. Все готово к ее приему. А что касается родов, нечего опасаться, в городе есть великолепное гинекологическое отделение при больнице, с прекрасными специалистами.

А Мира? Могла она разве отложить встречу с Мишей хотя бы на один лишний день? Ей хотелось как можно скорее увидеть его, быть с ним, хотелось, чтоб он — и никто другой — пришел в больницу за ней и ребенком.

Она решила лететь. Но от этого отговорил пожилой врач в женской консультации, куда она пришла посоветоваться.

— Лететь? — сказал он. — Никоим образом!

И пояснил:

— При нормальном полете вы, конечно, можете выиграть время. Но пора зимняя, могут полет и отложить. Один аэропорт долго не выпускает, другой долго не принимает, садятся на третьем. Мало ли что... А вы будете мучиться на переполненных аэровокзалах. Нет, поезжайте-ка лучше экспрессом «Россия» — самое верное дело!

— Но он идет шесть суток, — сказала Мира, — а за это время...

— Нет, нет, — понял ее опасения врач, — если выедете на этой неделе, гарантирую... И, кроме того, — под седыми кустиками бровей врач показал узкие щелки сощуренных в улыбке глаз, — кроме того, ваш сын — вы ведь хотите сына, да? — сын ваш потом не простит, что, имея возможность родить его дальневосточником — понимаете, дальневосточником! — вы произвели его на свет в каком-то небольшом неизвестном поселке.

Из консультации она ушла успокоенная.

И был еще один довод в пользу поездки, его привел Миша в последнем письме. «Теперь, — писал он, — когда ты, милая, носишь его еще в себе, тебе легче будет добираться с ним, нежели потом, когда тебе придется везти его с собой...»

Да, в себе... Вот он, их ребенок, дает о себе знать легкими толчками — один, другой... О, как ей хочется скорей увидеть Мишу! Только один раз положить бы руку его себе на живот, чтоб и он ощутил эти мягкие требовательные толчки...

Которые сутки в дороге, и все еще нет ей конца...

8. Ольга

Вася Петров прервал ее мысли. Хмурый, чем-то раздосадованный, вошел он в купе и таким тоном, точно она в чем-то была виновата, сказал:

— Ну, Мира Ефимовна, знаете... Это ведь...

— Что случилось? — не поняла она.

— Но это же черт знает что такое! Это...

— Ничего не понимаю! — повернулась к нему Мира.

— Да Ольга вот...

— Какая Ольга?

— Ильинская...

— А! — наконец дошло до нее. — Ну и что же?

— Так ведь все шло хорошо! Он даже в любви ей объяснился, понимаете, в любви...

— Ну, и...

— Ну, и тут же на попятный! Она ждет его... Ждет день, второй, третий, а он... Он придумывает отговорки и дрыхнет дома...

— На то он и Обломов, — сказала Мира, с интересом разглядывая Васю: до чего книга его задела!

— А Ольга, — не успокаивался он, — не выдержала, сама к нему приехала. Это же понимать надо — сама приехала, — а он? Байбак!

Вася в сердцах бросил книгу к себе на полку.

— Ну его...

— А вы дальше, дальше читайте, — сказала Мира.

— А что дальше? — ответил он. — Уж если Ольга с ее любовью не расшевелила его, он таким и подохнет...

— Но Ольга...

— А что Ольга?

— О, ей еще многое предстоит!

— Да? — спросил он и тут же спохватился: — Извините, Мира Ефимовна, я вам, наверное, помешал? Дочитал, знаете, до этого места, и такая досада взяла... Надо было с кем-то поделиться. Извините! — сказал Вася и направился в коридор.

— Вы мне ничуть не мешаете, — сказала Мира, — читайте здесь. Я ведь ничего не делаю. Только думаю.

Вася присел на краешек полки.

— А о чем вы думаете, Мира Ефимовна, можно знать?

— О разном, Вася. В дороге думается хорошо.

— Это верно, я по себе это знаю, — согласился он.

— О чем же вы думаете, Вася?

— Тоже о разном.

— Все же?

— Вот читаю и думаю: Обломовы в наше время невозможны, а Ольги? Такие женщины, как Ольга, у нас есть?

— Думаю, что есть, — сказала Мира. — Они, конечно, во многом отличны от той — время-то другое, — но достоинства Ольги — жажда жизни, тяга к прекрасному, энергия, стремление и способность к действию — все это теперь присуще женщинам гораздо в большей мере, чем тогда...

Вася молча слушал, не сводя глаз с собеседницы.

— Почему вы смотрите так на меня? — смутилась Мира.

— Простите, Мира Ефимовна, вот слушаю вас и думаю: многое и в вас от Ольги...

— Что вы, какая из меня Ольга! — усмехнулась она и, чтоб отвлечь разговор от себя, спросила: — А вы, Вася, свою Ольгу уже нашли?

— Нет.

— Почему?

— Не вижу я что-то вокруг себя никаких Ольг...

— А кого видите?

Вася задумался.

— Вот вы только что говорили, — сказал он, — о достоинствах Ольги — ее энергии; стремлении и способности к действию и прочее. Но было в ней еще кое-что, и Гончаров подчеркивает это: мягкость, красота, нежность. Помните, характеристику Ольги он завершает тремя словами: «Словом, она женщина». А вот девушкам, понимаете, тем девушкам, которых знаю я, этой-самой женственности как раз и не хватает. Чересчур много мальчишества на себя напускают. И прически, и брюки, и папиросы! К чему? Это меня отталкивает. В девушках я ищу то, чего мне самому, может быть, не хватает, — мягкости, нежности...

— Плохо ищете, — заметила Мира. — Правда, и в этом, пожалуй, вы правы — наши девушки, женщины часто почему-то прячутся под каким-то напускным мальчишеством, как бы стыдясь своей женственности. Но она есть, и надо уметь ее разглядеть.

— Значит, не умею, — сказал Вася.

— Вот возьмите нашу Зиночку...

— Зинаиду Семеновну?

— Да.

— И что еще можно увидеть в ней, кроме того, что сразу бросается в глаза? — спросил Вася.

— Не думайте, она вовсе не такая, как может показаться с первого взгляда. Чего-то она в жизни ищет, пока не находит и от этого страдает...

— Поверьте мне, — горячо возразил Вася, — ничуть она не страдает. А то, что ищет, находит: вчера Вадим Петрович, сегодня Эрнест Валерьянович, завтра...

— Не говорите, Вася, вы не все знаете.

— А я и не хочу знать! Я лучше опять к Ольге... — Он схватил книгу с полки и вышел в коридор.

Зинаида Семеновна снова поздно вернулась в купе. Плюхнувшись на постель, откинула голову к стенке и прошептала:

— Если б вы знали, как все это мне надоело...

От нее, как и вчера, пахло коньяком.

— Что вам надоело? — спросила Мира.

— Все, все... Знали бы вы, как я устала... Одно и то же... Одно и то же... Вчера один вагон, сегодня другой... Вчера одни люди, сегодня другие... Но все то же: карты, коньяк, пошлые комплименты... О, как все это мне надоело...

— Ну, а как Эрнест Валерьянович? С виду довольно интересный человек.

— Интересный? — Зинаида Семеновна нахмурилась. — Такой же, как все...

— Но он, надеюсь, не предлагал вам, как Вадим Петрович, выходить за него замуж?

— Хуже.

— Что — хуже?

— Он предложил мне сойти в Хабаровске и остаться на пару недель...

— С ним?

— Да.

— А жена?

— Жена, научный работник, в длительной командировке...

— И вы отвесили ему пощечину?

— Нет.

— Жаль. Он ее заслужил.

— На всех пощечин не напасешься, рук не хватит... —

Зинаида Семеновна закрыла глаза. — Как мне все надоело!

— Но вас никто ведь не неволит так жить? — сказала Мира.

— А как жить?

— Вот мы едем с вами столько дней, а вы ни разу еще в книгу не заглянули...

— Читать? — Зинаида Семеновна рассмеялась. — Покорно благодарю! Читать о том, как другие жили, живут? И потратить на это свою жизнь? Нет, пусть другие читают обо мне...

— Но вам не по душе ведь тот образ жизни, который теперь ведете?

— А как жить иначе? Как?

Мира глянула на Зинаиду Семеновну, хотела что-то сказать, но раздумала.

Некоторое время женщины молчали. В тишине слышнее стал стук колес. Чем больше Мира слушала этот стук, тем отчетливее, казалось ей, она слышала в нем повторение одних и тех же слов, слов из полученной ею вчера телеграммы:

«...Люблю... Целую... Миша...

...Люблю... Целую... Миша...»

Бессильно откинувшись к стенке, Зинаида Семеновна тоже вслушивалась в колесный перестук, и ей мерещилось в нем одно и то же: «...Надоело... Надоело... Надоело...»

Сидя с закрытыми глазами друг против друга, две женщины в неумолчном стуке колес слышали каждая свое...

9. Привет из Биробиджана

Прошел еще один день в пути.

Капитан Лаутин и Надя Симонова, как и в прежние дни, подолгу стояли у вагонного окна, тихо о чем-то между собой беседуя.

Вася Петров читал «Обломова».

Лев Маркович Гнезин, сидя в вагоне у своего коллеги Савелия Кузьмича, ждал перевода в другое купе.

Мира то сидела, то лежала, вся погруженная в то огромное и важное, что творилось внутри нее и что воспринималось ею и как частица ее самой и как нечто такое,

что вскоре от нее отделится. Это было очень странно и немного страшно — начнет существовать самостоятельно, отдельно от нее...

Зинаида Семеновна никуда не ходила и почти весь этот день спала.

Дверь в купе с шумом раскрылась. На пороге стоял человек, весь сиявший благодушной улыбкой. Был он Мире совершенно не знаком, но улыбался так, будто приходился ей очень близкой родней и только диву давался — как же та сразу его не узнала...

За гостем, на полторы головы возвышаясь над ним, стоял Вася.

— Абрам Лазаревич Зискинд, — сказал он, — из Биробиджана.

— Из Биробиджана? — Мира поднялась, подала гостю руку. Тот ее крепко пожал.

— О себе, Мира Ефимовна, можете ничего не рассказывать. Этот товарищ о вас все доложил, — указал он на Васю.

Тот тут же пояснил:

— Сидим за обедом, как всегда, втроем — Лев Маркович, Савелий Кузьмич и я. Подсел четвертый. Разговорились — из Биробиджана. «С нами в купе, говорю, едет женщина в Биробиджан». — «Кто такая? Откуда?» — «Вы ее не знаете, говорю, она туда едет впервые, и ее очень интересует, что там и как...» Вот...

— Садитесь, — указала Мира гостю на свою полку, а сама подвинулась к окну.

Гость был невысок, полноват, круглолиц, а когда улыбался, на лице его улыбалось все — черные, живо поблескивающие глаза, щеки, лоб, коротковатый нос.

— Вам хочется знать, — весело спросил он, — как-то там, в Биробиджане? Что ж, можете получить живой привет!

— Мне это интересно, — сказала Мира, — я еду ведь туда впервые и, как видите, — она показала на свою фигуру, — не одна...

— О, это вы очень хорошо делаете, — рассмеялся Абрам Лазаревич; смеялся он так, как будто горох рассыпают по жести, — хорошо делаете. Биробиджан нуждается в людях. Впрочем, — тут же добавил он, — где теперь нет нужды в людях? Вот я еду из Иванова...

Он рассказал, что работает помощником мастера в ткацком цехе текстильно-швейной фабрики. Несколько

человек было командировано поближе ознакомиться с постановкой дела в городе ткачей, перенять кое-какой опыт.

— Ну, и переняли? — спросила Мира, глядя на Абрама Лазаревича и удивляясь тому чувству, которое он у нее вызвал, — будто знает она его уже очень давно, чуть ли не столько, сколько и родного отца.

— Конечно же, переняли, — ответил он. — Причем нам много не нужно, любая малость, намек — и с нас достаточно. Остальное сами додумаем, сделаем. На то мы еще в известном смысле и рационализаторы...

— Почему в «известном смысле»? — спросила Мира.

— В том смысле, что второго лунника мы еще не придумали, но делаем все, что требуется, чтоб дела на фабрике шли лучше... Да, вы ведь просили, — спохватился Абрам Лазаревич, — рассказать о Биробиджане, а я рассказываю о себе...

— Рассказывайте, пожалуйста, — попросила Мира, — ведь и вы сами частица Биробиджана, не так ли?

— Это правда, — ответил он, — и, если хотите, даже изрядная часть...

— Как это понять?

— Понять это надо так, что с тех пор как существует Биробиджан, существуем и мы там, Зискинды. Родители мои прибыли туда в числе самых первых переселенцев, то ли вторым, то ли третьим эшелоном, еще в двадцать восьмом году. Отец мой — теперь он уже на пенсии — все годы работал кузнецом. Богатырь и мудрец, он любит говорить нам, детям, — нас у родителей восьмеро — пять сыновей и три дочери, — так вот, любит он нам говорить: «Вы, дети, принадлежите ко второму поколению биробиджанцев — вас породил Биробиджан. А мы — первое поколение. Биробиджан породили мы...»

— «Биробиджан породили мы», — повторила Мира. — Хорошо сказано!

— О, мой отец умеет сказать! Вот приедете, познакомитесь с ним. Ему уже под восемьдесят, но он аккуратно просматривает каждое утро газеты — «Биробиджанер штерн», «Биробиджанскую звезду» и, конечно, «Правду». Любит потолковать о мировой политике. С ним поговорить интересно.

— Так как говорит он, отец ваш, — переспросила Мира, — «Биробиджан породили мы»?

— Да, и этим он хочет сказать о том, каких неимо-

верных трудностей им, первым, стоило все то, что тут за недолгое время создано. На великой Транссибирской магистрали был маленький, затерянный среди сопок и тайги разъезд Тихонькая. Все его население составляло несколько сот человек рыбаков и охотников. Тут предстояло заложить город, начать большую жизнь. И ее начали!

— Откуда приехали ваши родители?

— Из Витебска. Отец тогда уже был в годах. А мать — комсомолка. Теперь и она на пенсии. Часто приглашают ее на комсомольские собрания, пионерские сборы, и она рассказывает нынешним нашим ребятам, как жили комсомольцы двадцатых и тридцатых годов. Геройское было племя! На их долю такое выпало...

— Да, — сказала Мира, — для нас это уже история, а они творили ее своими руками. Первые пятилетки... Коллективизация... Так дорого стоившая победа в войне... Послевоенное восстановление... Мой отец тоже воевал, а теперь работает на заводе. Мы, молодые, в большом долгу перед нашими отцами и матерями...

— Плохо лишь то, — заметил Абрам Лазаревич, — что не все молодые это понимают.

Зинаида Семеновна на своей постели повернулась лицом к стенке и плотнее натянула на себя одеяло. Абрам Лазаревич приложил палец к губам и заговорил тише:

— К тому времени, когда я стал подрастать и кое-что понимать, многое было уже сделано. Биробиджанский национальный район был преобразован в Еврейскую автономную область, и Биробиджан стал областным центром. Отец мой имел честь быть делегатом Первого областного съезда Советов. До сих пор он любит рассказывать о том, сколько делегаций прибыло тогда со всех концов страны — из Москвы, Минска, Киева, Ленинграда и других городов — приветствовать рождение новой национальной области. Сюда шли эшелоны с оборудованием, машинами, техникой — вся страна строила новую область. И так — по сей день. Теперь не узнать уже города моего детства, преобразился он до неузнаваемости. Вырос новый город, с асфальтированными улицами, пятиэтажными кирпичными домами, с большими заводами и фабриками с современным оборудованием. Строятся новые и новые микрорайоны...

Наблюдая за тем, с каким увлечением он рассказывает о своем городе, Мира заметила:

— Видно, Абрам Лазаревич, вы влюблены в Биробиджан?

— Как вам сказать... — ответил он. — Я в этом городе родился и вместе с ним рос.

— Скажите, — обратилась Мира к Абраму Лазаревичу, — есть в области еврей-земледельцы, механизаторы?

— А как же! — ответил тот. — Многие из них известны не только в области, но и в крае. Есть среди них и знатные животноводы и овощеводы. О ком бы вам рассказать? Да взять хотя бы семью Рак...

— Рак? — переспросила Мира.

— Да, даром, что фамилия такая, а назад не пятятся, нет! Все передовики!

— И много их?

— Много. Отец, Ехиел Рак, тоже был среди первых поселенцев. Приехал из маленького местечка на Украине, — кажется, из Погребищ. Там он был бедолагой — извозчиком, тут стал трактористом. Он был одним из тех, кто километрах в двенадцати от Тихонькой стал рубить тайгу и ставить там первые дома. Место это называли Валдгейм, что значит — дом в лесу. Со временем Ехиел стал бригадиром тракторной бригады и руководил ею много лет. Тем временем подросли сыновья и тоже пошли в трактористы. Жена его тут же, в Валдгейме, родила десятерых. Была она матерью-героиней.

— Была?

— Да, теперь ее нет в живых. Нет и Ехиела. Живут и трудятся их дети. Сын Арон — заместитель председателя колхоза, второй сын, Борис, — колхозный инженер, дочь заведует Домом культуры, — целая династия! А вы спрашиваете, есть ли еврей-земледельцы! — с легким укором закончил свой рассказ Абрам Лазаревич.

— Это очень важно — то, что вы рассказываете, — сказала Мира. — Не всем это известно. И я вот не знала. А есть ли еврей-рабочие — токари, слесари, сварщики?

— Да еще какие! На заводе силовых трансформаторов много лет трудится — ваш муж, наверное, его уже знает — знатный токарь Морис Глик. Восьмую пятилетку он выполнил за три с половиной года. За столько же времени собирается он выполнить и девятую. Жена Мориса, Сарра Глик, — начальник большого цеха на нашей текстильно-швейной фабрике. Оба награждены орденами.

— Как, вы сказали, их фамилии?

— Глик.

— Да, это поистине счастье¹, — промолвила Мира. — Ну, а вы сами, Абрам Лазаревич, почему не рассказываете о себе?

— А что обо мне рассказывать?

— Но вы и сами, наверное, давно и хорошо работаете?

— Четверть века. С восемнадцати лет.

— И небось имеете награды?

— Не без того.

— У вас должно быть много детей. Угадала?

— Нет, не много — трое.

— По нашим временам немало. Большие?

— Дочка в восемнадцать вышла замуж и произвела меня, представьте, в деда. Вот уже два года, как я удостоен этого звания.

— Внучка? Внук?

— Внук!

— И хорош?

— Загляденье!

— А еще?

— Два сына. Старший в институте, младший в школе еще.

— Коль так, — сказала Мира, — и вас, Зискиндов, в Биробиджане целая династия?

— Немалая! — с радостью согласился Абрам Лазаревич. — Знаете, недавно в новом микрорайоне я получил квартиру из четырех комнат с лоджией. Но поверьте, в праздник все равно всю родню не соберешь — тесно!.. Ну, хватит, — спохватился Абрам Лазаревич, — я тут заговорил вас, а вам отдыхать надо.

Он поднялся.

— Посидите еще.

— Нет, пора. Я — через вагон. Меня ждет уж наш профессор.

— Какой профессор?

— Едет с нами в купе. Из Владивостока. Кстати, гинеколог. Могу вас с ним познакомить.

— Благодарю. Зачем утруждать человека?

— За время пути мы с ним очень сдружились. Он

¹ Игра слов. Слово «глик» по-еврейски означает счастье.

заядлый шахматист, да и я в этом деле немного смыслю. До свидания! В Биробиджане — милости прошу!

Он пожал ей руку, и все лицо его — глаза, щеки, лоб, коротковатый нос — засветилось в улыбке.

Мире казалось — человека этого знает она уже целую вечность.

10. Дальний и Ближний

Повернувшись под одеялом, Зинаида Семеновна выпростала голую руку и зевнула.

— Он меня замучил, ваш гость. Сколько можно?

— Вы разве не спали? Мы старались говорить тихо.

— Какое там! Он разбудил меня, как только вошел! — Зинаида Семеновна опустила на пол голую ногу. — Не люблю людей, которые все на свете рисуют в розовых красках...

— Но он ведь рассказывал интересные вещи, — сказала Мира.

— Кое-что было интересно, да. — Зинаида Семеновна опустила вторую ногу и стала разглядывать педикюр. — Но вообще... — Она снова зевнула и сбросила одеяло.

— Что вообще? — спросила Мира.

— Вообще не верю я людям, которые пытаются делать вид, что все хорошо... — Узкий светло-зеленый бюстгальтер и такого же цвета плавки — все, что было на ней, — оттеняли атласную белизну ее кожи. — Ах, что вы! — воскликнула Зинаида Семеновна. Раскрылась дверь, показалась голова Васи, но тут же Вася дверь захлопнул. — Напугала мальчика, — усмехнулась Зинаида Семеновна, накидывая шелковый цветастый халат.

Расчесывая на постели льняные локоны, сказала:

— Не верю я тому, что все уж так хорошо, как ваш гость тут расписывал. Есть, видать, немало своих бед и в Биробиджане.

— Возможно, — ответила Мира. — Но не об этом была у нас речь. Он отвечал на мои вопросы, и видно, что человек влюблен в свою работу, в свой город.

— Любовь бывает одна — между мужчиной и женщиной. Остальное — чепуха! — отрезала Зинаида Семеновна.

— А любовь к месту, где родился, к родному краю?

— Оставьте!

— Вы неправы, — возразила Мира. — Любовь — понятие более широкое, нежели вам кажется. А я, — добавила она, — влюбленных людей люблю! Неважно, в кого или во что человек влюблен — в женщину, в город, край... Такой всегда способен сделать больше, чем другие...

— Не будем спорить, — примирительно заявила Зинаида Семеновна, — вам, Мира Ефимовна, это вредно. Но гость ваш, — она внимательно рассматривала карандаш для подрисовки бровей, — рассказал и кое-что существенное. Я, например, не знала, что существует Еврейская автономная область...

— Неужели не знали? — удивилась Мира.

— Нет.

— А о Биробиджане слышали?

— Слышала, но всегда путала: Азербайджан, Биробиджан...

— Сильны же вы в географии, — рассмеялась Мира, — да и в истории тоже...

— С этими предметами я всегда была не в ладу, — призналась Зинаида Семеновна, — но Еврейская автономная область — это интересно...

— Это вас действительно интересует?

— А почему бы и нет?

— Каким же образом?

— А самым непосредственным, — ответила Зинаида Семеновна.

— Не совсем понимаю, — призналась Мира.

— Сейчас объясню. Моя мать еврейка, а отец русский. Он давно умер.

— Вот уж, признаться, никогда бы не подумала, — удивилась Мира, — что у вас мать еврейка.

— Не похожа? — весело рассмеялась Зинаида Семеновна.

— Ничуть!

— Вот и прекрасно! Но я говорю, — подчеркнула она, — что мать еврейка.

— А вы?

— Я — русская.

— Этим вы меня совсем огорошили. Как же так?

— А очень просто. У нас каждый волен выбрать ту национальность, которая ему желательна. Когда я получила паспорт, я попросила записать меня русской. Это мое право, тем более что мой вид, мое имя, мой язык...

— Но одно дело — право, — сказала Мира, — другое — как им пользоваться.

— А чего мудрить? — возразила Зинаида Семеновна. — Я имею право, и я им пользуюсь.

— Но это не так просто, — после некоторого раздумья ответила Мира. — Как вы можете записаться русской, если ваша мать еврейка?

— Но я так хочу!

— А почему, собственно, вы так хотите?

Теперь наступил черед задуматься Зинаиде Семеновне. От непривычного напряжения над ее тоненьким носиком наметилась складка.

— Так проще, — сказала она.

— Что проще?

— Жить.

— А если бы вы записались еврейкой?

— Понимаете, — замялась Зинаида Семеновна, — евреи — это такой народ...

— Какой народ?

— Всегда с ним что-то было неладно...

— Как это понимать?

— Ну вот, я плохо знаю историю, но кое-что мне известно. Еще в давние времена в Италии, Испании евреев преследовали. Об этом много пишет Фейхтвангер. До революции в России евреи имели право жить только в определенных губерниях. Об этом можно прочесть у Шолом-Алейхема. Петлюра, Деникин, Махно и прочие учиняли еврейские погромы. Об этом родители мне рассказывали. Гитлер вовсе вознамерился истребить всех евреев и много в этом преуспел...

— Да, но все это было в прошлом! Понимаете, в прошлом!

— Почему вы иронизируете? — зло выкрикнула Зинаида Семеновна. — Разве я одна? А вы? Можно подумать, что вы хвастаетесь тем, что вы еврейка!

— Нет, не хвастаюсь, — ответила Мира, — это было бы глупо. Но и не стыжусь — это было бы подло. У нас в стране никому не дано повода стыдиться своей национальности.

— А почему, по-вашему, евреи едут в Израиль?

Мира посмотрела на собеседницу, не сразу уловив связь между тем, о чем шла речь, и этим ее вопросом.

— Есть разные евреи, — ответила она. — Некоторым

из них, может быть, снится большой бизнес, и они полагают, что там его смогут делать.

— Но туда едут и еврей-ученые, люди искусства.

— А эти, — что же, эти собираются делать тот же бизнес, но на науке и искусстве.

Помолчав, Зинаида Семеновна спросила:

— А вас, Мира Ефимовна, скажите правду, не тянет туда?

— Куда?

— В Израиль.

Мира долгим взглядом посмотрела на собеседницу и сказала:

— Я вам отвечу словами моего отца.

— Кто ваш отец?

— Простой человек. В войну был солдатом. Теперь работает мастером на заводе. К тому же не любит много говорить. Так вот, на этот вопрос, когда ему его задали, он ответил очень коротко.

— Как?

— «Все на свете можно заменить, кроме Родины и матери».

— А я бы поехала! — с какой-то залихватской беспечностью в голосе воскликнула Зинаида Семеновна.

— Вы? Но что вы-то стали бы там делать?

— А что?

— Вы же русская...

— А там мы это как-нибудь опять бы переделали! — тем же тоном ответила Зинаида Семеновна. — Мои родители еще пока не решили, но они уже собираются.

— Кто ваши родители?

— Это имеет значение?

— Нет, просто интересуюсь.

— Отчим заведует фармацевтическим складом. Мать — косметичка.

— И они собираются ехать? — спросила Мира. — Не думаю, что их ожидают там большие блага.

— А вы бы ни за что не поехали? — еще раз спросила Зинаида Семеновна.

— Как видите, — ответила Мира, — я еду на Дальний Восток. Он мне ближе.

Зинаида Семеновна вдруг поднялась, запахнула на себе цветастый халат, подхватила полотенце, мыло, зубную щетку.

— Пойду умываться.

— Поторопитесь!

— А что?

— Скоро большая станция, закроют туалет!

Выйдя из купе, Зинаида Семеновна увидела Васю. Он читал на выдвижном стуле у окна.

— Бедный мальчик, — слегка коснулась она его беле-
сого чуба, — ведь вы давно уже могли войти...

11. Все нормально

Экспресс шел по территории Еврейской автономной области. Позади остались ворота области — станция Облучье, где с высокой горы вокзал горделиво взирает на широко раскинувшиеся железнодорожные пути вниз. Проехали станцию Известковую с большим известковым заводом, который выглядел карликово-малым у подножия огромной заснеженной сопки. Промелькнули три дымящие трубы Теплоозерского цементного завода, исчезли вдали мраморные сопки за Бираканом.

До Биробиджана осталось ехать считанные часы.

У окна, где все эти дни привыкли видеть капитана Лаутина и Надю, девушка теперь стояла одна. Он сошел раньше. Она накинула на себя пальто и тоже выскочила на перрон. Широко улыбаясь, он подал ей руку, а она вдруг припала головой к его шинели и на миг ощутила у себя на волосах его ладонь. Ее душили слезы, и она ничего не могла сказать. Он, кажется, все понял...

— Не тушуйся, Надюха, — грубовато сказал он, — жизнь — штука серьезная. Держись!

Она некоторое время еще смотрела ему вслед, пока он уходил, затем вернулась в вагон. И вот она едет одна. Ехать осталось ей недолго. А жить?..

Она вошла в купе, где все еще было полно его живым дыханием. На книгу, которую так и не дочитала, — «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый листок.

«Натка, — писала она, — он сошел. Скоро вот будет третья станция без него...»

Шариковая ручка застыла над чистым листом. В глазах у Нади стояли слезы.

Вася читал на выдвижном стуле у окна. Он закрыл книгу, поднялся, выглянул в окно. Вдруг он почувство-

вал, что глаза у него становятся влажными, и сам удивился — отчего? Умер Обломов... Но тот и при жизни был мертвецом. И все же...

Осторожно открыв дверь, Вася вошел в купе. Зинаида Семеновна, умытая, пахнувшая тонкими духами, у себя на постели обрабатывала пилочкой длинные розовые ногти. Мира Ефимовна тяжело дышала, лежа на постели.

Вася склонился над нею:

— Мира Ефимовна...

— А?

— Умер Обломов.

— Что?

— Обломов умер, — повторил он и в страхе вдруг отшатнулся.

Глаза у беременной стали огромными, она с трудом прохрипела:

— Уйдите... Уходите же! У...

Он не успел, выбегая, прикрыть за собой дверь, как его настиг страшный, наполненный неимоверной болью крик, и спустя мгновение крик этот повторился...

Побледневшая, выбежала Зинаида Семеновна, схватила Васю:

— Скорее! Через вагон с биробиджанцем едет профессор...

Васю как ветром сдуло. Через несколько минут он вернулся с Абрамом Лазаревичем и профессором. Это был очень высокий старик с густой, как бы присыпанной инеем шевелюрой и жесткой щеточкой усов над прямой линией упрямо сжатого рта.

Профессор скрылся в купе.

Бледная, испуганная, прибежала Надя. Сбежались пассажиры из других купе. Криков больше не слышать было. Томительно тянулись минуты.

Наконец вышел профессор.

— Ничего страшного, — сказал он. — Все нормально. Начались родовые схватки...

— Что же делать? — забеспокоились пассажиры.

— Роженицу надо снять на ближайшей станции.

— Какая ближайшая станция?

— Биробиджан.

— Какое счастье! — воскликнула Надя. — Туда она ведь и едет... Какое счастье!

Профессор обратился к Васе:

— Отыщите начальника поезда. Пусть немедленно передаст, чтоб в Биробиджане встречала «скорая». Ну, а если можно, чтоб передать родным...

Вася исчез.

— А не может случиться, профессор, что еще до Биробиджана... — заикнулась было Зинаида Семеновна.

— Нет, не может, — резко ответил профессор и, глядя на нее, осекся. Что за красотища! Как же он раньше ее не заметил? «Но детей не рожала, — определил он тут же, — делала аборты».

Чуть мягче добавил:

— Так быстро сие не делается.

Он глянул на часы:

— До Биробиджана остался час... час десять минут. А это обычно продолжается дольше...

Из купе снова донесся крик. Все стоявшие у дверей вздрогнули. Абрам Лазаревич умоляюще глянул на профессора:

— Сделайте что-нибудь, Александр Иванович!

— Тут ничего не поделаешь, — развел тот руками. — Природа... Наша с вами партия, Абрам Лазаревич, видно, останется неоконченной. А жаль... У моей королевы отличная позиция...

Александр Иванович снова вошел в купе. Зинаида Семеновна подалась за ним, но он вежливо остановил ее:

— Пока не надо. Доверьте это мне: мой хлеб...

По всему экспрессу быстро разнеслось, что в шестом вагоне у беременной женщины начались родовые схватки.

— Так я и знал! — сказал Лев Маркович Гнезин своему коллеге Савелию Кузьмичу, в купе которого сидел, — так и знал...

— Вам повезло, — заметил Савелий Кузьмич, — что это не случилось ночью, когда вы там...

— О, это было бы ужасно!

— Зато, — утешал его Савелий Кузьмич, — в Биробиджане вы сможете занять ее место.

— Ни за что! Несколько часов, что останутся до Хабаровска, я проеду с вами...

— Как вам будет угодно...

До чего же ему в этой поездке не повезло... Коль надумала роженица разрешиться от бремени в дороге, не могла она это сделать хотя бы сутками раньше...

Лев Маркович и Савелий Кузьмич какое-то время

поговорили еще по поводу случившегося и пошли в ресторан.

Вася Петров обо всем договорился с начальником поезда и теперь стоял в коридоре у окна.

Какие страшные были у нее глаза... И вдруг: «Уходите!..» Видно, из нее уже рвался крик, но она его из последних сил сдерживала, пока он, Вася, не уберется. Что за выдержка... И все-таки нет-нет а кричит... Видно, это сильнее ее. Рождаются люди. Тысячи людей ежедневно являются на свет... Родился и он... Но никогда не думал о том, каких это стоит мук. Странно: наслаждение и боль — у истоков человеческого бытия. Наслаждение испытывают двое, а боль — женщина одна... Одним этим заслуживает она вечного преклонения...

Впервые в жизни пришли эти мысли к Васе Петрову теперь, когда, стоя у окна, он слышал крики, время от времени вырывавшиеся из закрытого купе.

В одном месте поезд так круто повернул, что Вася увидел впереди длинный зеленый тепловоз и первые вагоны, увидел, как поспешно он тащит их за собой, как бы желая, чтобы как можно скорее и лучше свершилось то, что должно свершиться...

12. Экспресс следует дальше

В Биробиджан экспресс прибыл вечером. Кружила пурга. В свете прожектора снежная пыль взметалась высоко к фронту вокзального здания, то закрывая, то вновь открывая русские и еврейские буквы названия — «Биробиджан».

Не успел поезд остановиться, как в шестой вагон вошли два рослых санитары в белых халатах поверх пальто с носилками. Мира, уже одетая для выхода, в платке поверх шапочки, в каком-то забытии полусидела, полулежала на своей полке, поддерживаемая с одной стороны профессором, с другой — Зинаидой Семеновной.

Когда ее выносили из вагона, она виноватым взглядом простилась со всеми: «Не дотянула... Доставила столько хлопот...» Хотела что-то сказать, но не смогла. Ее опять одолела боль, правда, не такая сильная, и она смогла задержать в себе крик, прикусив нижнюю губу...

На перрон сошли также профессор, Зинаида Семеновна в накинутом на плечи котиковом манто. Вася снес два тяжелых чемодана. К носилкам сразу кинулись молодой мужчина в коротком пальто и ушанке — Миша — и низенькая, полная женщина — его мать.

Взволнованный, растерянный случившимся (не так он представлял себе эту встречу), Миша низко приник к носилкам:

— Мира, что ты... как?

Она нашла в себе силы ему улыбнуться.

Мать заплакала.

Санитары подняли носилки и поспешно пошли с ними к выходу с перрона, где ждала машина «скорой помощи».

Зинаида Семеновна вернулась в вагон.

Абрам Лазаревич попрощался с профессором.

— Мы еще когда-нибудь сыграем с вами в шахматы! — сказал ему тот, стоя в тамбуре.

Вася догнал уходящего Абрама Лазаревича:

— Одну минутку. Ваш адрес...

— Пожалуйста! Зачем?

— Я вам напишу с Камчатки. А вы мне сообщите, как тут все кончилось, хорошо?

— Понимаю. Записывайте.

Вокзальное радио объявило об отходе поезда.

— Я запомню.

— Чапаева, восемь, квартира пятнадцать.

— Спасибо!

Поезд тронулся. Вася посмотрел в ту сторону, где скрылись санитары с носилками, Миша и его мать, и вскочил в вагон.

— Как бы вы не простудились, — сказал он в тамбуре профессору.

— Такому старому хрычу, как я, — ответил тот, — уже ничего не страшно. А вам, молодой человек, не мешало бы что-нибудь надеть.

— Как вы думаете, профессор, — спросил Вася, — с роженицей не случится худого?

— Все будет в порядке, она здоровая женщина, можете не сомневаться.

— А то, что началось в пути, в поезде?

— Это не имеет значения.

Профессор задумался и сказал:

— В такое время живем: умирают, рождаются — все на ходу.

И добавил:

— На полном ходу!

Тут же спросил:

— Играете в шахматы?

— Нет.

— Жаль. У нас осталась неоконченная партия...

Он ушел к себе в вагон.

Вася постоял у окна, глядя в ту сторону, где в метельном вихре маячили огни Биробиджана. Затем он открыл дверь в купе. На своей постели, приклонив голову к вагонной стенке, сидела Зинаида Семеновна, и из ее больших, широко раскрытых серо-голубых глаз катились по бледным щекам крупные слезы.

Он опешил, не зная, оставаться ему или бежать.

— Что, — не меняя позы, спросила Зинаида Семеновна, — в первый раз видите, как плачет баба?

— Но вы...

— Что я? Думал, я только веселюсь и гуляю, да? Прожигаю жизнь! Эх, вы...

— Я вижу... — попытался Вася что-то сказать.

— Что вы, мужчины, можете видеть? На вершок вглубь, не более... А что помимо этого — не ваше дело...

— Я понимаю, — сказал Вася, — вам жаль Миру Ефимовну? Вы думаете, с ней может быть худо? Или с ребенком?..

Зинаида Семеновна улыбнулась:

— Ну и чудак же вы, Вася...

Она наклонилась к нему:

— Мира Ефимовна лежит теперь в светлой палате, вокруг нее врачи и сестры. Еще до полуночи на белоснежной простынке ей поднесут такого крикуна... «Жаль Миру Ефимовну»... Чудак!

У Зинаиды Семеновны вдруг скривились губы, и она закрыла лицо. Вася понял: она плакала из жалости к себе.

Он вышел в коридор. Долго постоял у окна и думал о том, что как только прибудет на место, напишет Абраму Лазаревичу. Тот ему обо всем сообщит. «Все будет в порядке», — сказал профессор. Она очень хотела сына. Возможно, так и будет. Он, Вася, напишет Мире Ефимовне маленькое письмецо, поздравит ее и мужа с ново-

рожденным. А когда она выпишется из больницы, ответит ему. Почему бы ей не ответить ему?

В другом конце вагона у окна стояла Надя. Кроме их двоих, в пустом коридоре никого не было. Сбивчивым шагом — вагон швыряло на ходу — Надя пошла к Васе, стала с ним рядом.

— Грустно, — сказала она.

— Да, — ответил Вася.

Помолчали.

— Закончили «Обломова»? — спросила Надя.

— Осталось несколько страниц.

— И я не дочитала свою книгу.

— Какую?

— «Голубая моя планета» Германа Титова.

В окно глядела непроглядная темень, и оконное стекло возвращало им расплывчатые отражения их собственных лиц.

Вскоре вновь появились огни. Они быстро наплывали, исчезали и вновь наплывали, и сопровождаемый ими экспресс в клочья рвал метельную зимнюю ночь...



Миллер Б. И.

М 60 На полном ходу. Повести. Хабаровск, Кн. изд., 1977.

192 с. 50 000 экз. 64 коп.

На дальневосточной земле, среди новостроек первых пятилеток, известен и город Биробиджан — центр Еврейской автономной области. Борис Миллер, один из старожилов области, в повести «Ясность» и во многих рассказах показывает людей, с энтузиазмом осваивающих Дальневосточный край. Среди героев повести мы видим и Эммануила Казакевича, жившего в начале тридцатых годов в Биробиджане и здесь начавшего свой путь в большую советскую литературу.

Произведения этой книги отличает глубокий социальный оптимизм, любовь к людям, которые трудом своим преображают землю.

М 70303-06
М160(03)-77

С (Евр) 2

Борис Израйлевич Миллер

НА ПОЛНОМ ХОДУ

Редактор *Н. Т. Кабушкин*. Художественный редактор *А. В. Колесов*. Технический редактор *Л. А. Польщикова*. Корректор *Л. М. Гракович*

Сдано в набор 23/XI 1976 г. Подписано к печати 28/I 1977 г. ВЛ 01144. Бумага типографская № 3. Формат 84×108¹/₃₂. Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,42. Тираж 50 000 экз. Заказ № 596. Цена 64 коп. Хабаровское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

64 коп.

